

Виктор Свен

**ЦЕНА
ЖИЗНИ**

1960

В и к т о р С в е н

Ц е н а жизни

Р а с с к а з ы

Copyright by Author

Издание автора.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
Цена жизни	5
Кока-кола	57
Исайка	93
Распятие	123
Душа человека	139

ЦЕНА ЖИЗНИ

Часть первая

1.

Полковник Клейнмихель встал из-за стола и медленно прошелся по кабинету. Для чего нужно было это движение, что принудило его покинуть широкое кресло, полковник и сам не знал. Но он уже давно заметил, что чувство какой-то неудовлетворенности заставляет его беспечно ходить из угла в угол, интересоваться мелочами, которые, обычно не привлекали его внимания.

Так и теперь. Пройдясь несколько раз по кабинету, он остановился перед диваном и потрогал его прохладную темно-коричневую кожу. Но сегодня эта скользкая гладкость кожи вызвала представление о ярком солнце и безоблачном небе. О зное, о густой пыли разбитых дорог и тяжелом дыме горящих зданий. Мысли были непрощенные и, желая избавиться от них, полковник медленно опустился на диван. Плавная упругость пружин успокаивала. Удобно вытянув ноги, он некоторое время рассматривал свои блестящие, отлично сработанные сапоги.

Но этой сосредоточенности хватило ненадолго. Скоро полковник Клейнмихель привычным жестом сунул руку в карман мундира и вытащил тяжелый портсигар. Портсигар сверкнул тусклой, уверенной серьезностью старого золота.

Когда аромат хорошей сигары заполнил кабинет, полковник Клейнмихель откинулся на спинку дивана и с некоторым удивлением провел глазами по стенам, по старым картинам и остановился на темных гардинах, загородивших доступ яркому воздуху к этому письменному столу и уютному дивану.

Гардины являлись какой-то границей. За ними — блеск летнего дня, зелень лесов, глубина неба и свет; здесь — прохлада, легкие сумерки и тишина. Это случайное сопоставление было таким неожиданным, что полковнику захотелось взглянуть на то, что было за пределами кабинета. Подчиняясь этому желанию, похожему на каприз, полковник встал и подошел к окну. Осторожно раздвинув тяжелые гардины, он вынужден был закрыть глаза, спасаясь от блеска июньского дня. Потом, несколько освоившись с потоками света, он увидел причудливый

переплет колючей проволоки, несколько дальше первую угловую вышку, затем вторую и третью. На вышках четкими силуэтами вырисовывались солдаты в стальных шлемах. Солдаты равнодушно глядели вниз и по сторонам.

Все было обычное и очень знакомое, но полковнику вдруг показалось, что так же спокойно и равнодушно озирают пространство и мертвые глаза пулеметов. Это почему-то его смущило, заставило отойти от окна и снова сесть к письменному столу.

Откинутая в сторону гардина позволила солнцу наполнить кабинет и прогнать тишину и полумрак. Но полковник этого не заметил, задумчиво рассматривая массивные монограммы на портсигаре.

За стеной слегка громыхнул отодвинутый стул. Это не имело никакого отношения к теперешнему состоянию полковника, но он почему-то облегченно вздохнул и сразу представил себе Венденя, совсем молоденького, еще не разучившегося краснеть лейтенанта. С этим лейтенантом можно было пощутить и кой-какими шутками привести в замешательство. «Он славный, этот Венден», — подумал полковник и, встав, направился к двери.

2.

Из-за стола быстро поднялся лейтенант Венден. Но ни порывистое движение, ни мундир, ни отличная выправка не могли погасить ласковой мягкости больших, открытых глаз молодого офицера.

Полковник Клейнмихель движением руки заставил лейтенанта сесть, а сам пристроился на краю стола.

— С чем это вы возитесь, лейтенант?

Вопрос был совсем будничным, но он как будто застал лейтенанта врасплох и заставил смутиться. Полковник взял лежащую перед офицером папку, скользнул по ней взглядом и пренебрежительно отбросил:

— Перестаньте возиться... Кому они нужны? А лучше всего перейдите фельдфебелю...

Лейтенант Венден приподнял смущенное лицо. На этот раз полковник совсем близко увидел его большие, по-детски внимательные глаза, улыбнулся и спросил:

— Кто у вас дома остался?

Лейтенант никак не ожидал такого вопроса и растерялся еще больше.

— У меня, господин полковник, только мама... мать. Я один в семье, господин полковник...

— А... сестры у вас нет, лейтенант? Если она у вас есть, она должна быть красавицей...

— Нет, господин полковник, — ответил лейтенант, густо покраснев.

— Да, — протянул полковник. — А все же, бросайте это дело... Кого оно может интересовать?

Лейтенант Венден осторожно, как-бы боясь что-то рассыпать, при-двинул к себе папку.

— Видите ли, господин полковник, это дело...

Молодой офицер опять смущился и нерешительно добавил:

— Если бы вы знали, господин полковник...

Полковник Клейнмихель встал и, отойдя немного в сторону, с оскорбительной резкостью бросил:

— Что мне нужно знать?

Лейтенант Венден торопливо поднялся:

— Я не так выразился, господин полковник... Если бы вы ее видели...

— Кого?

— Жену князя...

— Этого русского...

— Да, господин полковник...

Лейтенант Венден говорил совсем простые, обыкновенные слова, но они почему-то глубоко задевали полковника. Ему даже казалось, что скрытый, не совсем понятный смысл их был оскорбителен как напоминание о каком-то тяжелом, ничем не оправдываемом преступлении, в котором был замешан и он, полковник Клейнмихель. Уже забыв, что он сам, совсем недавно, с удовольствием глядел на длинные ресницы молодого офицера, на его стройную, затянутую в мундир фигуру, полковник со злобой, с нарочито-похабной интонацией грубо спросил:

— Уж не влюбились ли вы, лейтенант, в эту восточную...

В этом недосказанном слове подчеркивалось что-то особенное, носящее определенное намерение придать всему грязный, легко угадываемый смысл.

Стоящий перед ним офицер был молод. В нем чувствовалась чистота, порядочность, свойственная молодым людям, воспитанным в хороших семьях, под долгим влиянием матери.

Может быть именно эта чистота и вызвала вспышку полковника, подлое желание заставить молодого офицера думать и действовать так, как думал и действовал сам полковник.

Он ожидал, что лейтенант Венден легко и охотно поддастся влиянию скрытого смысла слов, с удовольствием подхватит разрешение на беседу именно в таком направлении и скажет что-то, после чего возникнет возможность легкого, непринужденного и слегка волнующего разговора.

И потому, когда глаза лейтенанта утратили детски-ласковое сияние и вспыхнули горячим гневом мужчины, полковник с удивлением и настороженностью взглянул на него. Когда же лейтенант судорожно рванулся вперед, полковник невольно сделал шаг назад и слегка прищуренными глазами пристально посмотрел в лицо лейтенанту. Лейтенант Венден остановился.

Полковник Клейнмихель видел, как минутная вспышка молодого офицера гаснет, уступает место жестокому, нерассуждающему закону дисциплины. И услышав: «Что вы говорите, господин полковник?», полковник Клейнмихель понял, что лейтенант Венден утратил способность и сопротивляться, и защищаться. Это обрадовало полковника, как-то возвращало к давным-давно установившимся традициям и обязывало что-то сделать, чтобы еще раз проверить свою силу. Поэтому полковник не громко, но повелительно сказал:

— Лейтенант!

Молодой офицер вытянулся и замер. Полковник, сверкнув орденами, круто повернулся и лейтенант некоторое время следил за его тяжелым, четким шагом. Потом дверь закрылась.

3.

Мальчишеская выходка молодого офицера поразила полковника. Он долго не мог прийти в себя от изумления, не мог представить себе, чтобы офицер немецкой армии, к тому же воспитанный в лучшей военной академии, вдруг так забылся.

Первым движением полковника Клейнмихеля было сурово наказать лейтенанта Вендена. Но постепенно он смягчился и совсем неожиданно для себя улыбнулся, представив самого себя в молодости, тоже начинаящим офицером. Мог ли он так поступить, как этот лейтенант? Конечно, нет, тотчас ответил себе полковник. И естественным был вопрос: почему? Разбираясь в этом, полковник должен был признаться, что сам он другого склада человек, что для него душевые движения не играли никакой роли. Понятие чести укладывалось только в определенные рамки офицерской чести. Что вне этого — не имело к нему никакого отношения. Люди распределялись по твердо установленным категориям лестницы чинов. По этой лестнице надо было двигаться, те же, что стояли у подножия, у первой ступеньки, это были тоже люди, но... этими людьми надо было твердо и властно управлять. Чем выше подъем, тем больше власти и тем значительнее та толпа, которая должна беспрекословно подчиняться.

Таково было определенное убеждение полковника Клейнмихеля. Вне этого он ничего не признавал, и поэтому был на хорошем счету у тех, кто стоял выше его. Правда, были еще женщины, к которым он причислял и свою мать. Но это была часть человечества, не имеющая определенного отношения к военной службе. О них полковник вспоминал очень редко, хотя и не относился к ним с явным предубеждением. Но говорить серьезно о женщине, о любви к ней он не мог. Ни к одной из них он никогда не был привязан и не понимал поэтому, как можно какую-то Эльзу или Маргариту восхвалять в стихах. Все это было ерунда. В этом полковник был твердо убежден. Вот почему вспышка лейтенанта, вначале так раздражившая, потом заставила улыбнуться и подумать, что лейтенант охвачен тем чувством, которое для полковника выражалось в очень прозаическом и по-солдатски грубом слове.

Но тут опять возник образ этого молодого, еще умеющего краснеть лейтенанта. Стارаясь разгадать что-то незнакомое, полковник вдруг с горечью ощутил тоску о неизведенном, видимо хорошем влечении к женщине. Проверив свое прошлое, он еще раз вынужден был признаться, что никогда, даже много лет назад, ничего подобного с ним не могло случиться.

«Ерунда!» — громко сказал полковник, и это слово сразу вернуло его в реальную обстановку кабинета. Коричневая кожа дивана, удобные кресла, картины, дорогие безделушки на письменном столе, а, главное, прекрасный ковер делали этот кабинет мало похожим на штаб воинской части.

И теперь, желая как-то освободиться от неприятных мыслей, возникших после столкновения, нелепость которого была ясна, полковник Клейнмихель попытался успокоиться и подошел к стене, на которой была карта фронта. Слегка сдвинув брови, он внимательно посмотрел на карту и почему-то вяло подумал, что разноцветные флаги пе-

редвигались несвоевременно, на сутки и двое позже того, как та или другая армия безуказненно-разработанным маневром продвигалась вперед и захватывала новые, по-чужому и непонятно называемые города.

То, что происходило там, на том далеком Восточном фронте, сюда доносилось приглушенным эхом и реально отражалось толпами изможденных, оборванных и голодных военнопленных. Полковник не любил смотреть на них, и узнавал об этом чаще всего из докладов и рапортов, мало интересуясь, кто и откуда прибывает, кто и куда выбывает.

И сейчас, подойдя к карте только с целью рассеяться, отвлечься от неприятного инцидента, полковник Клейнмихель понял, что этот пустячный эпизод как-то утверждает правоту этого мальчишки.

Обычно, когда полковника начинала раздражать бездеятельность, он вызывал своего помощника, безрукого майора, и играл с ним в шахматы. Игроk он был слабый, и майор обыгрывал его легко. Но к этому полковник Клейнмихель относился равнодушно, делал большие перерывы, заполняя их беседой.

Полковник решил прибегнуть к этому и сегодня, чтобы окончательно освободиться от мыслей о лейтенанте Вендене. Но когда пришел майор, полковник не торопился играть и сразу же начал говорить о скуче тыловой жизни. Он вспоминал Балканы, Францию и боевые действия в Польше.

— Знаете, я уже не чувствую себя инвалидом... Я не хочу обращаться к врачам, я потребую, чтобы меня вернули в мой авиационный полк... Мне не нужен тыл.

Майор благодушно слушал, потягивая крепкую сигару. Когда полковник Клейнмихель замолчал, он заметил:

— Ну, господин полковник, почему бы вам не отдохнуть у нас...

— Нет, — с досадой махнул рукой полковник. — Я хочу быть там, где решается судьба нации.

Полковник взял-было фигуру с шахматной доски. Но ход не был сделан.

— Сидеть здесь, значит опоздать к последнему моменту... Понимаете, майор, я всю войну — во Франции, в Польше, на Балканах — был солдатом, а сейчас...

— У вас достаточно орденов, господин полковник... — Майор глубоко вздохнул, придинул к себе пепельницу и тихо добавил: — К тому же, господин полковник, живому псу все-таки лучше, чем мертвому льву...

Полковник Клейнмихель, казалось, не расслышал последних слов. После продолжительного молчания он, вдруг, так же тихо сказал майору:

— Если бы передо мной был поставлен такой выбор... хотя, не знаю, не могу сказать... Но лев выглядит, все-таки, лучше... даже мертвый...

4.

Полковник Клейнмихель нажал кнопку. Через мгновение, как бы отвечая на треск звонка, металлически-сухо щелкнули подковы каблуков.

Полковник, собственно, даже и не знал, зачем он вызвал этого старшего писаря. Писарь тоже не мог догадаться, для чего он понадобился господину полковнику авиации, освобожденному от строевой службы после ранения и сейчас ничего не делающему, занимающему почетную и спокойную должность коменданта. Фельдфебель явно недоумевал, и недоумение это было совершенно искренним.

Наконец, полковник Клейнмихель поднял голову:

— Фельдфебель... дело этого русского...

Фельдфебель выразил почтительное внимание и, даже, приподнял брови. Но как он ни старался угадать мысль полковника, ничего не получалось. Плотно сжав каблуки, он весь был само усердие. Перед его глазами вытянулись сплошные ряды военнопленных, носящих такие странные и тяжело произносимые фамилии. Перед ним стояли люди, имеющие овальные, алюминиевые значки, на которых были выгравированы их номера. Перед ним, наконец, всплыли в образцовом порядке содержащиеся именные дела-папки, в которых аккуратно записывалось время поступления, время выбытия и все, что касалось военнопленного.

Все это представил себе штабс-фельдфебель ярко и отчетливо. Он усиленно пытался сообразить, какое дело понадобилось, какая из нескольких тысяч жизней интересует господина полковника. И не мог сообразить.

— Сейчас же...

Штабс-фельдфебель стал еще более внимательным и готовность его напоминала до предела натянутую струну.

— Так точно, господин полковник! Какое дело прикажете, господин полковник?

Полковник вспыхнул, но потом вдруг совершенно неожиданно для самого себя тихо сказал:

— Ну.. этого русского князя...

Металлическим лязгом солдатских подков отметились последние слова полковника.

5.

Дело значилось под номером 12.044. Это была обыкновенная картонная папка, в которой тщательно подобранными хранились анкеты, протоколы опросов, найденные при обыске письма. Письмами, видимо, особенно интересовались: каждое имело определенный номер и точный перевод.

Само по себе дело было не очень большое. Выглядело оно сравнительно объемистым только потому, что кипа фотографий упрямо раздувала папку.

Полковник Клейнмихель раскрыл дело номер 12.044. Оно начиналось анкетой, и полковник несколько раз, вслух повторил фамилию. В неожиданном, довольно трудном сочетании слов, образующих фамилию, полковнику почудилось что-то чужое, загадочное, очень далекое, непонятное, но имеющее связь с тем, что происходит сейчас там, на Востоке, откуда не так давно вернулся сам полковник.

Остальное, донесения жандармов, допросы, квитанции были не интересны и полковник все это быстро перелистывал. Потом он взял в руки конверт и вынул фотографии. Они привлекли его внимание.

Фотографий было много. Он разложил их на столе и как будто старался найти среди них нечто весьма значительное и важное.

В фотографиях была чужая, незнакомая жизнь. Причем, эта жизнь не ограничивалась каким-то коротким периодом. В особенности пристально всматривался полковник в некоторые старые, уже выцветшие от времени снимки: это было прошлое.

Очень скоро полковник Клейнмихель заметил, что на многих снимках, в совершенно разных лицах, повторяется хоть и незначительное, но вместе с тем отчетливо угадываемое сходство; отдельные штрихи и линии говорили об общности породы.

Эти карточки, в которых улавливалось сходство, полковник отодвигал в сторону. Остальные его уже не интересовали.

— Фамильное сходство... — прошептал полковник.

Установив это, ему захотелось заглянуть в жизнь вот этих людей, изображенных на этих карточках. Но как это сделать? На снимках были надписи, некоторые имели чью-то крупную, уверенную подпись. Но все это — на совсем чужом для полковника языке.

Полковник Клейнмихель нажал кнопку. Штабс-фельдфебель появился так быстро, как будто он все время стоял по ту сторону двери и ожидал приказа войти.

— Майора...

Когда вновь закрылась дверь, полковник поднялся из-за стола и подошел к громадной карте Восточного фронта. Он ее изучил давно и очень хорошо. Она не могла сказать ничего нового, и вместе с тем полковник остановился перед ней в недоумении и замешательстве. Это было вызвано, видимо, тем, что он сейчас, вот только что, рассматривая дело номер 12.044 и чужие фотографии, подпал под влияние каких-то не ему принадлежащих мыслей. Это и заставило полковника по-новому посмотреть на карту той страны, которая раньше просто и удобно называлась театром военных действий.

Эти понятные, не требовавшие прежде размышления слова, теперь утратили свое первоначальное значение и приобрели совершенно новый смысл. И заключался он в удивительно ясной, неизвестно откуда пришедшей мысли о том, что на этом Востоке тоже живут люди, как-то очень тесно связавшие свою судьбу с этой громадной территорией.

Еще раз посмотрев на карту, он невольно перевел глаза на западную часть Европы: сравнение его испугало. В чем дело, в чем загадка, он так и не смог решить. Люди и территория. Или: территория и люди? Рассуждая так, он слегка отодвинулся от карты и, медленно приподнимая голову, начал глазами проводить прямую линию от Минска на Восток. Глаза немного споткнулись на Уральском горном хребте, но выправились и дошли до берегов Великого океана... Полковник Клейнмихель зябко шевельнул плечами...

В этот момент раздался легкий стук в дверь. Вошел майор.

— Господин полковник изучает карту?

— Нет, майор, — ответил полковник, — знаете: вот я сегодня как-то по-новому взглянул на эту территорию, и она меня поразила. И...

и я подумал: история народа создает территорию, или территория — историю народа? Как по вашему, майор?

— Это уж что-то близко к философии, господин полковник. Не могу вам ответить. Не берусь... Единственное, что я могу вам сказать, господин полковник: за то время, пока я, предположим, ехал бы экспрессом из Минска во Владивосток... — майор провел пальцем по карте, и сделанная им линия повторила недавнее движение глаз полковника: — ...Вы могли бы, господин полковник, шестнадцать раз прогуляться из Берлина в Мадрид или Лиссабон...

— А... меня поразила не только территория, майор. Мне что-то новое почудилось в этих людях, которые имели силу создать такую территорию... Я хочу, чтобы вы мне помогли разобраться... вы, майор, знаток России и русской жизни, — закончил полковник Клейнмихель, придинув к майору дело номер 12.044.

Майор сел. В том, как он садился, чувствовалось, что ему в шестьдесят лет уже тяжело носить офицерский мундир. Об этом, видимо, он подумал и сам, устало взглянув на дело номер 12.044.

— Что же вы молчите, майор?

Майор нехотя улыбнулся:

— Несмотря на это знание русской жизни, господин полковник, или — нет: благодаря этому знанию, господин полковник, я нисколько не был удивлен, когда в 1915 году наш гвардейский корпус перестал значиться в списках действующих частей, а мою правую руку чорт знает куда отнес осколок русского снаряда...

Полковник слушал. Майор говорил и говорил и, казалось, что все это он вспоминает для себя: так отрывочны и разбросаны были создаваемые им картины прошлого. Даже трудно было определить, к какому времени относятся события: они нанизывались одно на другое и в беспорядочности своей создавали непонятную и, вместе с тем, грозную картину, в центре которой стоял с виду простой и добродушный солдат в серой, темно-песочного цвета шинели. И в руках этого солдата была винтовка с длинным, трехгранным штыком.

— Понимаете, полковник, в их ротах находились собаки... простые, мохнатые, и за раненой собакой они ухаживали как за ребенком... Перед боем, полковник, они старались одеть свежее, где-либо в придорожной канаве выстиранное белье... потому что они шли на смерть и хотели мертвыми предстать перед своим Богом в чистой рубахе... Не думайте, полковник, что они язычники. Нет, они христиане больше... чем мы с вами, господин полковник... У каждого из них был на шее медный или оловянный крестик, и этот крестик, полковник, для них не украшение... В тогдашнюю войну, знаете, у них были свои очень простые идеи, за которые они умирали точно так же, как умирали их деды и прадеды сто, двести и триста лет назад. И одна из этих идей — вера. То есть, вот тот самый медный крестик...

Майор замолчал и некоторое время вертел в руках потухшую сигару. Потом, как бы опять вернувшись в прошлое, добавил:

— В общем... что еще можно сказать? Да... это соединение креста и винтовки и смутного ощущения своей родной земли рождает та-

кое мужество и презрение к смерти, что становится понятной эта страшная наивность чистой рубахи...

— Да, майор, но... это уже их прошлое... Об этом вам придется, быть может, вспоминать, когда вместе с нами вы будете участвовать в последнем торжестве...

Майор внимательно посмотрел на полковника. Увлекшись своими воспоминаниями, он как-то незаметно для себя перешел на неофициальный тон беседы и несколько раз обращался к своему собеседнику, запросто называя его полковником. Теперь же он опять вернулся к действительности и отчетливо сказал:

— Буду ли, господин полковник?

Полковник протянул руку к карте: крохотные флаги ломаной цепочкой извивались по восточной равнине и как бы в ожидании остановились у Москвы и Петербурга.

Ожидавшие молчали и они оба, пристально рассматривая эти два города...

— Да, майор, — задумчиво произнес полковник, но тут же перебил самого себя и сказал: — собственно, не в этом дело... меня теперь интересует... Вот взгляните на эти фотографии. Они вам скажут больше, чем мне. Кстати, майор, вы ведь в совершенстве знаете их язык... Откуда это?

— Видите ли, это длинная история... началось с того, что я на-толкнулся на маленький рассказ «Четыре дня». Он меня поразил... а остальное пришло значительно позднее...

— Да, я тоже кой-что слышал об их литературе... О Толстом... О Достоевском...

— Самое же поразительное, господин полковник, что все это подлинное величие языка и литературы создано ими за каких-нибудь сто, сто пятьдесят лет... то, к чему другие приходили путем многих столетий, путем долгих поисков и блужданий, они как-то удивительно спокойно и уверенно обрели...

— И так же уверенно и спокойно потеряли все в 1917 году...

— Да... потеряли... внешнее выражение, да... потеряли. Но, господин полковник, душу то свою, душу, вон ту основу всего... Вы уверены, господин полковник, что они ее потеряли?

Сказав это, майор начал внимательно рассматривать снимки из дела номер 12.044, как бы подчеркивая, что не желает возвращаться к начатому разговору.

— Это... это, господин полковник, император Александр Второй в кругу своей семьи.

— А это?

— Генерал... свитский генерал, — ответил майор и стал читать надпись на обороте карточки.

Наконец, они обратили внимание, что очень часто повторяется одна и та же фамилия и скоро пришли к естественному выводу, что она такова, как и фамилия, которой обозначено дело заключенного, чи-сящегося под номером 12.044.

— Странно, — сказал полковник.

К чему относилось это странно, майор не понял. Да он, собственно, и не пытался понять, потому что ему уже не хотелось гово-

рить с полковником, в чем то его убеждать и ненужно спорить. К тому же, майору уже было за шестьдесят, и он многое привык решать про себя и для себя. Теперь же ему просто хотелось вернуться к себе, в свою холостяцкую квартиру, в шкафах которой мирно стояли книги, могущие дать ответ...

6.

Беседа с майором выбила полковника Клейнмихеля из колеи. Что-то нарушилось, что-то заставило по-новому взглянуть на жизнь и, в особенности, на тех людей, о которых полковник привык думать как о врагах или как о каких-то обезличенных номерах, под которыми числились все эти многие тысячи военнопленных.

Размышляя об этом, полковник уже со стороны посмотрел на самого себя. И все, раньше такое простое, сразу приобрело значительность. Эта значительность состояла в том, что полковник неожиданно ярко за каждым алюминиевым номером увидел живого, чего-то ждущего человека. Мертвый номер обернулся изнанкой и отразил чьи-то вопрошающие глаза. А если так, подумал полковник Клейнмихель, то и номер 12.044 перестал быть просто порядковым номером списка.

Придя к такому выводу, полковнику Клейнмихелю захотелось увидеть и поговорить с тем, кто тенью стоял за этим равнодушным номером из пяти цифр.

Было отдано распоряжение, и перед полковником стоял номер 12.044. В этом не было ничего неожиданного, наоборот, это был вполне естественный результат выполнения приказа. И все-таки полковник Клейнмихель некоторое время напряженно всматривался в лицо заключенного, как будто все еще не веря в его реальное существование.

— Мне доложили, что я могу обойтись без переводчика?

— Да, господин комендант...

Через несколько минут полковник поднялся из кресла и подошел к раскрытыму окну. Ему не хотелось оставлять уютное кресло, но он все же встал. И с удивлением подумал, что вот ему, полковнику Клейнмихелю, как-то неудобно сидеть в то время, когда этот заключенный, блестяще владеющий его, полковника Клейнмихеля, родным языком, стоит. Проще было бы предложить этому номеру стул, но...

— Я вас понимаю, — говорил полковник, — но вы должны согласиться, что мы победители и, следовательно, наши законы обязательны для побежденных...

Полковник некоторое время изучающе следил за лицом заключенного.

— Да, и я хотел бы слышать ваше мнение...

— Господин комендант, видимо, знает, что на нас смотрят как на рабов. Это большая ошибка, мы...

— Кто — вы?

— Мы — русские...

Полковнику, совершенно против его воли, вспомнились те фотографии, которые он вчера изучал. Он внимательно посмотрел на за-

заключенного, нашел в нем уже что-то знакомое, обязывающее говорить другими словами.

— Я не говорю о вас... я знаю... Даже, может быть, разделяя ваши чувства... Но вы, ведь, хотите или не хотите вы этого, вы особняком стоите от этой восточной массы... ну, если не рабов, то какой-то... ну не совсем полноценной категории людей.

— Я не могу и не хочу с вами спорить, господин комендант, но позволю себе заметить: я не стою вне этих русских, вне их истории. Я — русский...

Полковник засмеялся.

— Я вчера познакомился с вашим делом. Конечно, по национальному признаку вы русский, но...

— Нет, господин комендант, я русский...

— Ну, знаете, этим сегодня вам не приходится очень гордиться...

— Если господин комендант хочет строить свое отрицание достоинства у целого народа ссылкой на нынешнее положение, на исторические факты времен крепостного права или татарского ига, это ничего не даст...

— А разве этого мало?

— Нет, это очень много, и именно это многое может помочь сделать правильную оценку... Но это же многое совершенно бесполезно и, даже, вредно в руках тех, кто берется судить о России как случайный наблюдатель, совершенно незнакомый с душой и жизнью того народа, приговор которому он пытается выносить.

Рассуждения заключенного были занимательны своей оригинальностью и неожиданностью. Где-то, в глубине души, полковник даже готов был признать известную правоту, но высказать это, понятно, не хотел. Короткими же замечаниями он преследовал определенную цель: ему почему-то нужны были высказывания номера... (полковник забыл номер и взглянул на дело)... 12.044. Слегка улыбнувшись, полковник сказал:

— Я был на Восточном фронте. Я видел... да и тут, через этот лагерь, прошло так много русских, что, мне кажется, я имею право делать кое-какие выводы...

Заключенный молчал. Он смотрел мимо полковника, разглядывал колючую проволоку и вышки с пулеметами. Заметив, что заключенный не спешит с ответом, полковник спросил:

— Вы не согласны со мной?

Заключенный молчал. Полковник Клейнмихель в этот момент ощутил какую-то странную раздвоенность. Он сочувствовал этому молчанию, воспринимал его как нечто благородное, уверенное в своей правоте, чем поступиться нельзя. В этом молчании он с грустной радостью видел и оправдание своим, изредка приходящим мыслям, и правоту безрукого майора. Но тут же рядом, в грубой близости, копотлилось злое чувство к этому человеку, осмеливающемуся безмолвно осуждать то, во что привык верить полковник.

Которое из этих двух ощущений победит, пока что полковник Клейнмихель не знал, но борьбу их в самом себе он ощущал очень отчетливо. Лично сам он не хотел принимать никакого участия в этом поединке... И вдруг, случайно взглянув на стоящего перед собой, он увидел в лице номера 12.044 какие-то тонкие, что-то напоминающие

черты и линии. Сказался ли тут случайный поворот головы, создавший вот эти глубокие тени у глаз, или все это только показалось полковнику, но он сразу же позволил злобе охватить себя, вновь превратить себя в обыкновенного полковника Клейнмихеля, раздраженного неучтивым молчанием.

Совершенно не понимая, для чего это нужно, полковник Клейнмихель знал, что он сейчас скажет что-то грубое, скажет против своей воли и только для того, чтобы возможно сильнее задеть и оскорбить этого человека, который лишен права защищаться. Уже зная, какие именно слова будут сказаны, полковник Клейнмихель пока-что их не произносил. Он как-будто бы наслаждался сознанием, что эти еще не высказанные слова уже известны заключенному.

— У меня твердое убеждение: понятие о достоинстве у всех русских отсутствует. Они — сплошной примитив... всегда и во всем, будь-то честь... долг или любовь...

Заключенный безмолвно, чуть-чуть шевельнулся губами... Тогда полковник Клейнмихель резко оттолкнулся от подоконника, сел в кресло и протянул руку к кнопке звонка. Вслед за этим вошел штабс-фельдфебель и, поняв взгляд полковника, увел того, кто значился под номером 12.044.

7.

После нескольких дней надоедливого, мелкого дождя вновь выглянуло солнце и небо стало таким ярко-голубым и радостным, что даже полковник Клейнмихель улыбнулся и замурлыкал какую-то легонькую песенку.

Слов этой песни он не помнил, но мотив... да, это было что-то такое молодо-озорное, давнее, принадлежащее тому ушедшему времени, когда полковник так гордился своими первыми офицерскими погонами. Они так отчетливо выделялись на мундире, так изумительно лежали на плечах. И тогда было очень весело в этом сравнительно недорогом ресторанчике, где можно было встретить игриво-легкомысленных девушек, ни на чем не настаивающих и совершенно не ревнивых.

Мотив был тоже легкомысленный. Поддаваясь ему, полковник вспомнил прошлое и вдруг с неожиданным изумлением пришел к выводу, что именно так и надо жить. Ничего этого самого, никаких таких вечных истин нет, сегодня — это только сегодня, полковник сегодня завтра может стать генералом... но может и не стать. Как сказал этот безрукий? Да: «Живому псу, господин полковник, лучше, чем мертвому льву».

Воспоминание об этих словах майора развеселило полковника, и он начал думать о том, что его нынешнее положение очень и очень недурно, а после окончания войны...

Полковник подошел к карте, взял последнюю сводку верховного штаба и самолично передвинул флагжи. И подумал о том, насколько был хорош этот стратегический натиск на юго-восток, давший часть Кавказа.

Успехи на фронте, голубое небо, легкий мотив песенки... ах, да, ведь это та самая песенка, которую напевали тогда в кабачке. Полковник остановился и начал подсчитывать, сколько лет прошло с тех пор. Цифра, совсем неожиданно, оказалась настолько внушительной, что полковник сжал брови.

Но это было только мгновение. О прожитых годах он не пожалел, и сокрушаешься о том, что было, он, полковник авиации, не станет. Пусть глупцы и идеалисты толкуют о грязи, о насилии и крови. Он, полковник Клейнмихель, твердо знает, что сожалеть не о чем. К тому же — сильный всегда прав. Значит, не о чем и думать.

И опять мотив песенки захватил полковника. Даже на стук в дверь он ответил не сухим «войдите», а чем-то таким, что прозвучало обрывком давней, забытой мелодии.

Настроение полковника было настолько полным, что он с улыбкой встретил молодого лейтенанта Вендана.

— Я приношу свои искренние извинения, господин полковник...

Полковник Клейнмихель протянул руку:

— Я удовлетворен, лейтенант, вполне удовлетворен... Забудем... Сигару?

— Благодарю, господин полковник: они очень крепки для меня. Если разрешите, господин полковник, я закурю сигарету.

— Конечно, лейтенант...

Нет, полковник Клейнмихель был явно в хорошем настроении, и уже с улыбкой, много разрешающей, спросил у молодого офицера:

— Скажите, лейтенант, почему вы так горячо поднялись в защиту этой... ладно, ладно, лейтенант, не беспокойтесь... этой дамы, жены заключенного?

Лейтенант Венден густо покраснел. Полковник лукаво прищурил глаза:

— Вы можете, лейтенант, не отвечать. Но мне, старику, очень, очень интересно знать...

— Господин полковник, мне трудно что-либо сказать, я прошу: взгляните на нее...

— И вы уверены, лейтенант, что это поможет мне рассеять скуку тыловой жизни? О, если это так, я подчиняюсь вашему совету, лейтенант. Тем более, я думаю, что и она... скучает в этой глупши... Вы не находите этого? А?

— Она, господин полковник... из древнего русского рода. Она...

— Как вы не понимаете, лейтенант... Это тем более пикантно! Ну, ну, лейтенант, не будьте мальчиком: это, ей-ей, заманчиво... Что же, устройте сегодня после обеда, я готов прийти посмотреть...

Полковник шутливо-ласково обнял лейтенанта Вендана и как бы по секрету прошептал:

— Я потом вам скажу, лейтенант, насколько вы умеете разбираться в таком тонком товаре...

думать об этой женщине. Что она красива, полковник в этом не сомневался. Не сомневался он и в том, что мальчишка, неискушенный, к тому же из хорошей семьи, увлекся ею. И теперь бредит каким-то благородным порывом, думает доказать невиновность ее мужа и избавить его от лагеря.

В душе, конечно, полковник принимал и лагерь и все эти ужасы, творившиеся в нем, как нечто тяжелое, может быть даже не нужное. Но вместе с тем он не мог отказаться от существования лагеря, как не мог отказаться и от необходимости деления людей на разные категории. С этим он сжался, в это он уверовал и потому полагал, что все, что ни делается теперь, должно делаться и впредь. Поэтому полковник находил оправдания и своей жестокости и жестокости других. Он был глубоко убежден, что все происходящее правильно и не подлежит осуждению. Наивность же и сердечность лейтенанта он воспринимал, как нечто временное, случайное, такое, которое должно потом, позже, привести его к тому, к чему значительно проще пришел и он сам.

Единственная уступка, которую разрешил себе полковник, заключалась во внутреннем убеждении, что после войны и после окончательного покорения Востока сама по себе исчезнет необходимость жестокости. Эта уступка вызывалась не сожалением, не какими-либо гуманными или религиозными побуждениями, а простым, деловым расчетом: на этой громадной территории нужны те, кто должен и будет работать. Именно эта мысль, так ему казалось, подталкивала его все ближе и ближе узнавать этих людей, пока что относимых в одну безличную категорию врагов. Попадая сюда, в плен, они как-то обесцвечивались, становились мало интересными и, внешне, очень покорными... Хотя некоторые из них... И тут полковник вспомнил свою беседу с номером 12.044, потом подумал о лейтенанте Вендене и о той, к которой этот Венден так необычно относился...

Полковник посмотрел на часы. Это было время, когда он обещал зайти к лейтенанту и посмотреть на ту...

Как это ни странно, но перед тем, как выйти из своего кабинета, полковник Клейнмихель оглядел себя в зеркало, осторожно поправил ордена и уже несколько не по обычному настроенный вошел к лейтенанту, ведающему делами заключенных. С деланным равнодушием он приблизился к столу и пожал руку офицеру.

Усевшись в кресло, полковник развернул газету и закурил. Казалось, он больше ни на что не обращал внимания. В самом же деле, поверх газеты, он пытался рассмотреть лицо женщины. Но полуспущенные шторы отражали поток солнечных лучей. К тому же резкий переход от дневного света к легкой серости большого кабинета глушил тени и создавал впечатление сумерек.

Лейтенант, перехватив взгляд полковника, угадал его мысль и позвонил. Вошедший солдат с четкостью автомата поднял шторы.

Рука полковника, держащая газету, дрогнула Ему почудилось, что световая волна торопилась показать изумительно тонкий рисунок тридцатилетней женщины.

Полковник Клейнмихель был поражен. Невольно опустив газету, он пристально посмотрел на случайно оказавшуюся здесь женщину и почему-то стал думать не о ней, а о других таких женщинах, которых

он не встречал, но существование которых смутно угадывал. Странно колеблясь, перед ним предстали молодые, давным-давно забытые видения. Откуда они? Из книг, из воспоминаний, из картиных галлерей? На это полковник не мог ответить. Но она, вот эта, была одной из тех... может быть когда-то, в молодости, облик ее приходил в отрывочных, ускользающих сновидениях... Во всяком случае все это было так поразительно, что ему вдруг захотелось закрыть глаза, полней и ярче что-то представить себе...

Когда она поднялась и направилась к двери, у полковника судорожно сжалось сердце. Он, уже забывший и о книгах и музеях, о своих студенческих годах, давным-давно пришедший к отрицанию всего чистого и святого, вдруг как бы увидел развернутые страницы чужой истории и чужой, красивой жизни, открывшейся в лице этой женщины. Такое состояние, конечно, было бы очень кратковременным, если бы в этот миг из парка не донеслись еле слышные звуки оркестра. В этом неожиданно ворвавшемся музыкальном звучании была тихая печаль. Полковнику показалось, что еле уловимые звуки оркестра повторяют тонкую музыку прошлого.

Когда дверь закрылась, лейтенант поднялся. Он ни о чем не спрашивал, но немой вопрос стоял в его глазах.

Полковник Клейнмихель сидел в глубоком кресле. Потом он медленно провел рукой по лицу, сверху вниз, так, как это делает человек, пытаясь вспомнить что-то нужное, но окончательно забытое.

9.

Она опять должна придти сюда, в его кабинет. Об этой встрече с тревогой думал лейтенант: он ничего не может сделать. Беседа с полковником ни к чему не привела. «Вы влюблены, лейтенант!» — сказал ему полковник.

Влюблен? Лейтенант пытался разобраться во всем этом. Нет, он любит эту женщину как... И в мыслях он не находил слов, могущих определить его чувство. Он любит ее. Он хочет вернуть ей ее номер 12.044, потому что она любит этого невинно-брошенного в лагерь. Он знал ее и ее историю. Сила ее любви отразилась даже в сухих документах дела номер 12.044. И потому, что она так любила своего мужа, он, лейтенант, готов на все для нее. В ней он любил самоотверженность чужой любви...

Она опять придет в этот кабинет в поисках правды. И он ничего не сможет ей сказать, ни одного обнадеживающего слова не услышит она.

Никогда раньше лейтенант не задумывался над жизнью. От матери пришел он в военную академию, из академии в армию, приняв ее законы, как нечто обязательное и непогрешимое. Приказ есть приказ. А вот эта женщина заставила его усомниться во всем этом. Какими-то новыми глазами он взглянул и понял, что приказ — это ложь, что выше всех приказов живая жизнь и ее вечные законы. Лейтенант редко думал о евангельских истинах. Сейчас он почему-то вспом-

нил о любви к ближнему и о тех, кто может отдать свою жизнь за своего ближнего.

«А я?» — спросил себя лейтенант Венден и не успел ответить: дежурный доложил о приходе посетительницы.

В тот короткий промежуток времени, пока она проходила по соседней комнате, лейтенант думал о необходимости пожертвовать своей жизнью во имя счастья этой женщины.

Веря в искренность своего чувства, он все-таки вынужден был говорить ей:

— Простите, мадам... Я сделал все возможное. Но, к сожалению, законы военного времени, как бы это сказать, слишком прямолинейны: действует только да или нет. К несчастью, в отношении вашего мужа сказано да...

Зачем он все это говорил, он и сам не понимал. К чему были нужны ненужные слова? Проще было бы сказать ей всю правду о жестокости той войны, которую они ведут, и предупредить о самом худшем.

Да, только так. Потом подождать, когда она выйдет, взять вот этот пистолет и им разрешить все... Такова была мысль, и он хотел ей сказать об этом, но не сказал.

Она внимательно следила за его словами. Эти слова самому лейтенанту казались клейкой паутиной, обволакивающей душу женщины. Он замолчал, чтобы избавиться от этого ощущения, взглянул в ее глаза и почему-то позавидовал тому, кто скрывается под номером 12.044.

Но молчать нельзя. Говорить же было не о чем. Разве честно отделяться от величайшей трагедии казенными, страшными в своей обнаженности словами, равнодушно отгораживающими от чужого, непоправимого горя. Равнодушным лейтенант Венден не мог быть, потому что он любил эту женщину наивной и чистой любовью нетронутой юности.

Когда она поднялась со стула, ему хотелось остановить ее и покорно опуститься на колени, склониться перед ее скорбью. Но этого он не сделал.

Она ушла. Лейтенант остался один. Внутренняя опустошенность была настолько сильной, что он не слышал ни стука в дверь, ни шагов полковника.

Полковник Клейнмихель остановился и некоторое время с удивлением смотрел на молодого офицера. Потом подошел к нему и опустил руку на его плечо. Лейтенант Венден даже не вздрогнул. Пустыми, широко-открытыми глазами взглянул он вокруг себя: так могло смотреть только зеркало.

Яркая зелень сада была радостной; глубокие тени деревьев шевелились у дома; вверху далекое небо развертывало безбрежную синюю дорогу для торопливого бега облаков. Так было для всех, но ничего этого не видел, не мог видеть лейтенант, только что переживший большее, свое нравственное потрясение. Не видел он и полковника. Он жил одной мыслью, и выразил ее отчетливо:

— Она была здесь...

Полковник удивленно поднял брови:

— Кто?

Звук чужого голоса, колебание воздуха разрушило мираж и с легким удивлением лейтенант Венден воскликнул:

— А... это вы, господин полковник...

— Я вас спрашиваю!

Душевное напряжение, которым лейтенант жил эти минуты, вдруг погасло, и все стало до странности легким и совсем посторонним. Вместе с угасанием духа исчезли и физические силы. Лейтенант вяло опустился в кресло.

— Встать!

Лейтенант Венден не понял или не рассыпал приказания. Со странным равнодушием безразличия он так просто отметил слова полковника, как будто они уже не имели к нему никакого отношения.

— Вот что, лейтенант, вам эта особы явно не по силам. Посоветуйте ей обратиться ко мне... И вы увидите, как надо действовать... а для вас это будет хорошим уроком...

Лейтенант Венден встал. Просто, как бы ни к кому не обращаясь, он сказал:

— Он ни в чем не виноват...

— Что? — резко спросил полковник. — Вы смеете так утверждать? Не дождавшись ответа полковник гневно бросил:

— Кстати, фронт требует пополнений... в пятницу вы будете откомандированы в маршевой батальон... Поняли?

— Так точно, господин полковник...

10.

Полковник Клейнмихель не мог уснуть. Он вставал с постели, ходил по комнате и курил крепкую сигару. Через какое-то время ему казалось, что достаточно положить голову на подушку и придет легкий, успокаивающий сон.

Без мыслей, торопливо сбросив халат, он ложился и с легкостью бездумья ощущал приятную усталость. Но в то мгновение, когда дремота переходила в глубокий сон, полковник вдруг замечал, что его широко-открытые глаза пытаются что-то прочесть в темноте.

С легким стоном он приподнимался и садился на край кровати и думал мыслями, которые случайно, неоформленно возникали днем.

В темноте все было ярче и как-то сложней. Полковнику даже казалось, что если бы ночь тянулась очень-очень долго, он сумел бы сделать большие, все разрешающие выводы.

Но как только приходил рассвет, все изменялось и вновь становилось на свое прежнее место. Днем полковник Клейнмихель удивлялся своим ночных мыслям о праве на жизнь, о праве на любовь. Удивлялся поразительно-новой, неизвестно откуда приходящей симпатии к тем людям, о которых умел так тепло говорить безрукий майор.

В общем, все это было так необычно, что полковник впервые в жизни подумал о своей нервной системе. Рассуждения о какой-то нервной системе вначале рассмешили, но потом встревожили. Он решил обратиться к врачу. К тому же, это было необходимо еще и потому, что

полковник в последнее время все чаще испытывал припадки странной, тяжелой неудовлетворенности, вызывающей раздражение всем и всеми. Было ли это связано с бессонными мыслями или нет, в этом полковник не хотел разбираться, но в последние дни любой пустяк, мелочь, случайно и где-то вдали прозвучавшее слово навязчиво воскрепляли события этих дней. В особенности назойливо возникал в памяти инцидент с лейтенантом Венденом, а вслед за ним, совершенно против желания полковника, вырисовывался облик той женщины.

Если бы Венден был просто немцем и только немцем, на этот эпизод можно было бы не обращать внимания. Так думал полковник. Но Венден был офицером. И поэтому свое решение откомандировать этого Вендена в один из маревых батальонов, идущих на фронт, полковник полностью оправдывал. Он даже находил, что этот приказ чрезвычайно гуманен. Молодой офицер, безусловно, заслуживал большего. Правильней было бы передать его в военно-полевой суд. Но полковник этого не сделал. Ему было жаль молодого, безусого, еще умеющего краснеть офицера, и он невольно, в глубине души, до какой-то степени оправдывал его, тем самым оправдывая и себя.

Конечно, если бы полковник был вполне откровенен перед самим собою, если бы он хотел в своих мыслях дойти до логического заключения, он должен был бы сознаться, что в душе его совершился какой-то надлом. Внешне, в своих словах и поступках, он оставался прежним, старым полковником. Внутренне он был другим: рядом с раздражением жила настороженная симпатия к номеру 12.044 и явная приязнь к лейтенанту Вендену.

Этот номер 12.044 олицетворял загадку той громадной территории восточного театра войны, загадку, включающую и жену заключенного и те миллионы врагов, отодвинутых куда-то к северу, к Волге, к Кавказу. Лейтенант же Венден своей молодостью и свойственной молодости прямотой затрагивал то хорошее, что еще могло сохраниться в душе полковника. Иногда даже возникало легкое сожаление о том, что он сам, теперешний полковник Клейнмихель, никогда не переживал того, чем терзался, во власти чего жил молодой офицер. И это вызывало легкую грусть.

В таком настроении полковник отдал непонятное ему самому и совсем ненужное распоряжение произвести дополнительный обыск в квартире жены заключенного номер 12.044. Зачем было сделано это, что это могло дать — было неясно и самому полковнику. Но распоряжение имело какое-то отношение ко всем тем мыслям, которыми он жил последнее время.

Полковник смущился, когда дело номер 12.044 оказалось перед ним и штабс-фельдфебель доложил, что приказ господина полковника выполнен в точности. Слегка задохнувшись, не глядя на фельдфебеля, полковник жестом приказал ему выйти. Потом, оставшись один в кабинете, полковник Клейнмихель долго, не притрагиваясь, смотрел на обычную картонную папку. Дело номер 12.044 лежало перед ним спокойно-уверенное, приведенное в порядок старательными писарями.

Именно этот явно-ощущимый порядок, созданный руками солдат, возбуждал брезгливое неудовольствие. Если бы все, здесь находящееся, оказалось скомканым, разорванным, носящим следы торопливости — в этом угадывалось бы пусть незначительное, но все же отраже-

ние человеческой трагедии. В четко же подогнанных, пронумерованных листах дела была подлая, холодная черствость.

Наконец полковник придинул к себе папку. Она была обычно-знакомая, но несколько увеличившаяся. Раскрыв папку, полковник увидел, что за актом о последнем обыске добавились какие-то письма и заметки. Перелистывая дальше, он натолкнулся на портрет жены заключенного и начал его рассматривать очень пристально. Потом, как почти все пожилые люди, желающие лучше рассмотреть предмет, он отодвинул портрет на некоторое расстояние. Вопросительный взгляд из-под слегка разметнувшихся бровей заставил его глубоко задуматься.

Легкий стук в дверь вызвал некоторую растерянность. Полковник Клейнмихель торопливо спрятал портрет и, взяв трубку телефона слегка вздрагивающей рукой, сказал совсем тихо:

— Войдите...

От дверей до стола семь шагов. Седьмой шаг отчеканился железным клацаньем каблуков хорошо вымуштрованного солдата.

— Что изволите приказать, господин полковник?

Полковник молчал некоторое время. Потом он положил трубку телефона, равнодушно передвинул дело номер 12.044 и, как бы советуясь с кем-то, произнес:

— Вот что... разрешите им пятиминутное свидание... При конвоире... А потом... приведите ее ко мне... Со стороны сада. Понятно?

Есть какая-то неуловимая доля секунды, которую обязан почувствовать солдат. Именно в эту долю секунды сухой отчетливостью понимания щелкнули подковы каблуков. Вслед за этим отчеканились по паркету семь шагов. В тот момент, когда за фельдфебелем тихо и совсем неслышно закрылась дверь, полковник Клейнмихель протянул вперед руку и так плотно прищурил глаза, что к векам сбежались тяжелые морщины. В таком положении человека, что-то желающего сказать, но не могущего вспомнить главное, полковник оставался недолго. Потом он опустил руку, взглянул на массивную коричневую дверь кабинета и как-то по-старчески, разочарованно качнул головой. Было мгновение, когда он, посмотрев на кнопку звонка и слегка соединив уже седеющие брови, хотел что-то вспомнить. И не вспомнил. И только позже, откинувшись в глубокое кресло, с тоскливой горечью подумал о сделанной ошибке, непоправимость которой вдруг сжала его сердце гнетущим предчувствием.

Полковник Клейнмихель попытался преодолеть это странное состояние. И, наконец, с радостью заметил, что непрошенные мысли рассеялись и вместо них пришло нечто другое, ничего общего не имеющее с недавними переживаниями. Приподнявшись, он с радостным изумлением обнаружил, что в кабинете ничего не изменилось.

Если бы в этот момент полковник Клейнмихель мог совершенно незаметно проникнуть в соседние комнаты, он увидел бы, что и там все идет попрежнему. Он увидел бы, как торопливо выступали пишущие машинки, словно боясь упустить что-то важное; еще дальше, в другой комнате, обер-фельдфебель вполголоса, по телефону, сообщал фрейляйн Эльзе, что будет у нее от 7 до 8 часов вечера; тут же, примостившись на подоконнике, двое солдат с любопытством следили за нырянием в воздухе истребителей, поднявшихся с соседнего аэродрома.

Но полковник Клейнмихель ничего этого не мог видеть. Он опять задумался, и когда раздался стук в дверь — с удивлением поднял глаза и увидел перед собой жену заключенного номер 12.044. Вначале он даже не сообразил, зачем она здесь и к чему вообще он сам тут. Только потом, уже с некоторым сожалением, он вспомнил свое распоряжение и, криво усмехнувшись, попросил даму сесть.

Дальше все шло так, как будто бы полковник действовал против своей воли и нехотя. Ему казалось, что он говорит свои, привычные слова, и вместе с тем ощущал, что это чужие, уже не нужные слова, появляющиеся против его желания. Он был бы рад, если бы эта женщина встала и ушла. Это освободило бы его от необходимости говорить о том, что когда-то так оскорбило молодого офицера.

Но жена заключенного продолжала сидеть, с гневным вниманием вслушиваясь в слова. Потом она быстро поднялась и бледными губами прошептала:

— Мерзавец...

Это тихо сказанное слово могло положить предел всему. Оно не удивило, оно даже обрадовало его, как-будто освобождало от дальнейшего. Он тоже встал и, как бы подчиняясь чужой воле, сделал несколько шагов и без улыбки протянул руки к женщине.

Все, случившееся дальше, уже напоминало собой кошмар, в котором трудно было разобраться. Если бы в этот момент он, опять таки со стороны, имел возможность посмотреть на себя, проникнуть за пределы своего кабинета, он увидел бы как неожиданно-короткий треск выстрела погасил блеск летнего дня. Он заметил бы быстро соскачивших солдат, наблюдавших за истребителями, и ему показалось бы, что обо что-то споткнулись и в удивленном ожидании замолкли пишущие машинки.

А потом он смог бы расслышать стук каблуков по коридору. Он мог бы увидеть самого себя, полковника Клейнмихеля, быстро проходящего мимо притаившихся дверей, за которыми вдруг, как бы испугавшись, о чем-то торопливо затрещали машинки и громче обычного начали диктовать свои донесения переводчики, делающие вид, что они не видят санитаров, уже бегущих по прямой и нарядной аллее парка.

11.

Оставшись наедине, полковник Клейнмихель задал себе вопрос: нужен ли был этот выстрел. Он пытался убедить себя, что все случившееся завершилось так, как это необходимо. Но правды в этом он не чувствовал, и поэтому тщетные попытки выгородить себя были похожи на трусливое желание оправдаться перед какими-то судьями. Потом, прия к естественной мысли ненужности оправдания, так как нет никаких судей, он не почувствовал никакого облегчения, зная, что судья все-таки есть, и этот судья — он сам. Это было непонятно, так как не отвечало всем его убеждениям. Потом, большим усилием воли, создав подобие жалкой улыбки, он пришел к выводу, что все, случившееся в кабинете, можно было обратить в шутку. Тем более... И

тут полковник Клейнмихель остановился: тем более, что... Что именно? Ну, да, женщина... другая бы... К тому же, разве мог он предположить, что эта, с того странного и непонятного Востока могла на... на легко-шутливое предложение ответить прямым оскорблением.

Конечно, свидетелей не было. О происшедшем никто ничего бы не узнал. Но в тот момент он потерял способность управлять собой и, давно приученный действовать только силой, не мог остановиться.

Почему это так — в этом полковник не пробовал разобраться. К тому же у него никогда не возникала мысль о страшном соблазне, который представляет собой пистолет, вечно находящийся в руках. Он даже не мог допустить, что сама по себе инертная сила, заключенная в пистолете, уже давным-давно поработила его и в какой-то миг могла заставить произвести не оправданный, никому не нужный выстрел.

Право пользоваться этой скрытой, инертной по виду силой толкнуло полковника на преступление. Эту чужую волю полковник сейчас ощутил вполне отчетливо, и с поздним налетом горечи обнаружил, что где-то, в глубине души, у него таилась только теперь раскрывшаяся способность честно взглянуть на жизнь и людей. Именно этой частицей души теперь он многое понял и в отношении лейтенанта Венделена к княгине, и сожалел о своей прошедшей без искренней любви молодости.

С изумлением оглянулся полковник Клейнмихель на все, недавно случившееся, и робко подумал, что может быть он и не был виноват. Может быть всеми его поступками руководила чья-то посторонняя воля, заставляющая его, теперешнего полковника Клейнмихеля, идти тем путем, который должен был завершиться диким выстрелом.

Эта мысль поразила его и он с удивлением заметил, что в нем самом уже давно дважды Клейнмихеля. Один — теперешний, такой, какой есть полковник Клейнмихель, другой — тоже Клейнмихель, но несколько иной и в чем-то даже похожий на молодого лейтенанта Венделена. Это полупризнание раздвоенности ставило его в тупик, приуждало рассуждать. Раньше такой потребности не было; тогда было все просто и понятно. Теперь же, после выстрела в кабинете, после долгих размышлений, он пришел к страшному для себя выводу, что вся его жизнь была сплошным обманом. Придя к такому заключению, полковник совсем неожиданно сказал себе: «Ценою чужой жизни я узнал это...»

Но таким, несколько новым, он мог быть только наедине с самим собой. На большее у него не хватало сил. И это угнетало его. Ему хотелось совсем честно сказать кому-то, что, вот, всю жизнь он построил на ложном представлении, на ложных, искусственно-созданных законах. Желая это сделать, он не имел сил этого сделать. Удивлялся этому, потому что не понимал, что прошлое не может быть легко и просто отброшено, и что еще какое-то, может быть продолжительное время, ему придется жить под влиянием этого прошлого.

Неудивительно, что полковник Клейнмихель готовился к встрече с офицерами, как готовится молодой актер к выступлению на сцене: он должен быть таким, каким он должен быть.

Вот почему полковник Клейнмихель с некоторым, тщательно скрываемым волнением вошел в казино. Вошел прежний полковник Клейнмихель, и он обрадовался, что офицеры по-старому, без вопроса в гла-

зах, поднялись ему навстречу и совсем обычно ответили на рукопожатие.

В казино было уютно и светло. Уют стремился отовсюду, и от полупущенных штор, и от круглого стола, покрытого темно-зеленым плюшем. На бутылках красного французского вина обыденно-мягко вырисовывались светлые блики.

Там, за тяжелыми шторами, еще властвовал ранний вечер и воздух резали своим стремительным лётом стрижи. Здесь, уже зажженные, люстры уничтожали тени и ровным светом заполняли углы.

Знакомая обстановка постепенно, незаметно для самого полковника, стирала следы недавних размышлений и ставила все на свои привычные места. Помогало и удобное кресло, и круглый стол, и хрустальный бокал, наполненный вином. Глядя на все это, появилось настойчивое желание совершенно освободиться от того беспокойно-нового, что так томительно тревожило. И поэтому, слегка вращая бокал на плюшевые скатерти, сначала неуверенно, потом все более и более убежденно, полковник говорил:

— Это не личное оскорбление мне, господину Клейнмихелю. О, нет! Это было оскорбление офицеру, офицеру немецкой армии... выстрел был неизбежен...

В это время рука полковника дрогнула и из наполненного бокала красной струйкой скользнуло вино. Это была случайность и все офицеры вполне непринужденно и естественно сделали вид, что они ничего не заметили. Но эта красная, уже впитавшаяся в скатерть струйка напомнила полковнику тщательно замытое кровавое пятно на паркете кабинета и заставила с неоправдываемой злобой продолжать:

— Эта история еще раз подтверждает мое убеждение... Представляете себе, господа, ее выносят санитары... А он... он был невдалеке, у проволоки, после свидания с ней. И что же? Я сам видел: молча, сжав губы, он провожал ее равнодушными глазами, равнодушным, тупым взглядом... Я понял бы его бешенство. Его бросок на проволоку, проклятия, наконец, все что угодно, вплоть до того, что он размозжил бы себе голову об угол дома... Ничего этого не случилось. Понимаете: ни-че-го... А через мгновение я проходил совсем близко от него... Он знал, что это я застрелил его жену, и он только с каким-то странным любопытством рассматривал мое лицо. И молчал, как будто несколько минут назад не его жену санитары выволокли из моего кабинета... Мимо всего они пройдут равнодушно...

Кой-кто улыбнулся. Все молчали. Только безрукий майор тихо, но очень отчетливо спросил:

— Вы в этом уверены, господин полковник?

Полковник вздрогнул и повернулся в сторону майора.

— Конечно...

Он это сказал, и сам почувствовал ложь своего утверждения, и чего то ждал. Майор своей единственной левой рукой так сильно сжал себе подбородок, что нижняя губа стала быстро синеть. И вновь тихо и настойчиво спросил:

— Так говорите, господин полковник, он все время молчал?..

Этот неприятный разговор был удачно прерван вошедшим дежурным офицером, доложившим, что откомандированный в маршевый ба-

тальон лейтенант Венден, после трехдневного отпуска к своей матери, заехал, чтобы распрошаться с офицерами.

— Прекрасно, пусть заходит, — ответил полковник Клейнмихель.

— Кстати, он еще ничего не знает о... Мальчик, кажется, был немножко влюблена...

Дежурный офицер присел к столу выпить бокал вина. Но сделать этого он не успел, так как его срочно вызывали к телефону.

Через некоторое время он вернулся встревоженный и попросил у господина полковника нескольких секунд для личного доклада. Полковнику не хотелось уходить, вставать из мягкого, привычного кресла.

— Что? Совершенно секретно? Нет?! Тогда, пожалуйста...

Дежурный офицер рассказал, что лейтенант Венден, откомандированный по приказу полковника в маршевый батальон и только что вернувшийся из отпуска, в отведенной ему комнате застрелился, не оставив никакой записи...

12.

Никто не знал, о чем говорил полковник Клейнмихель со стариком-ефрейтором, призванным в армию из запаса. Сам же ефрейтор настойчиво хранил все, что произошло на квартире полковника Клейнмихеля в те долгие два часа, когда он, растерявшийся ефрейтор, был усажен полковником на стул.

Ефрейтор чувствовал себя очень неудобно. Он, проведший семь лет в армии императора Вильгельма II, третий год находящийся в армии Великой Германии, не мог себе представить, что, вот, он сидит, а господин полковник авиации ходит взад и вперед и слушает простые слова солдата.

В особенности тяжело было ефрейтору рассказывать. Он старался возможно отчетливей и короче передать господину полковнику все. И то, что он когда-то, до войны, работал садовником у очень хорошей госпожи фон Венден. И о том, что ее маленький сын Фридрих прямотаки любил цветы и горы. А потом Фридрих стал юнкером Фридрихом фон Венден, потом приехал домой веселым лейтенантом, и все-равно продолжал любить цветы и горы.

Несколько раз ефрейтор останавливался: ему казалось, что он рассказывает не так и не то, что может интересовать господина полковника. Но полковник Клейнмихель говорил:

— Да... да... дальше...

И ефрейтор, уже сам увлекаясь воспоминаниями, передавал мелочи из жизни семьи Венден, с наивной непосредственностью говорил о слезах матери, провожавшей сына. И о том, что госпожа фон Венден со всем-совсем одинока в своей небольшой, уютной вилле, спрятавшейся в саду, на берегу Рейна.

— Да... да... дальше...

И очень просто, и по-крестьянски откровенно сказал ефрейтор, что у госпожи фон Венден нет теперь никого и не нужен ей цветник в саду.

Да, он еще рассказал о том, что лейтенант Венден, вернувшись из отпуска, тоже говорил о своей матери и о цветах, и о том, что госпожа

фон Венден передавала привет старому садовнику Карлу. Да, так говорил молодой лейтенант ему в то время, когда ефрейтор пришел чистить ему платье и сапоги.

Рассказывая об этом, ефрейтор вздохнул, вспомнив, с какой добродушной улыбкой подошел к нему лейтенант Венден и хлопнул по плечу:

— И моему старому Карлу, так сказал он мне от имени матери, передай привет и напомни, что цветы без него скучают.

Даже слезы вытер ефрейтор. А потом о новостях спросил лейтенант, и ефрейтор все, все рассказал, и...

— Да... да... дальше.

И о том, как раздался выстрел в кабинете господина полковника. Даже это внимательно слушал полковник и ничуть не рассердился. А потом, когда лейтенант Венден узнал о выстреле, он сразу побледнел и попросил его, ефрейтора Карла, выйти. Потом он, ефрейтор, садовник Карл, прибежал, но лейтенант Фридрих фон Венден был уже мертв.

Все было сказано и ефрейтор Карл замолчал. Он сидел задумавшись. Где были его мысли? Там ли, в той казенно-нарядной комнате, на диване которой полулежал лейтенант Венден, по-детски беспомощно склонив уже нездешнее лицо на мягкую зелень дорогого плюша. Или там среди цветов, которые так по-сердцу были стройному и веселому мальчику Фридриху. А может быть видел он вопрошающие глаза одинокой, горько-страдающей госпожи фон Венден.

Трудно было разгадать тяжелые мысли ефрейтора. И он вздрогнул и вскочил, когда рука полковника коснулась его уже седеющей головы.

— Карл... садовник...

— Господин полковник, — срывающимся голосом крикнул ефрейтор. — Господин полковник...

Полковник Клейнмихель склонился к плечу ефрейтора. Ефрейтор с неподдельным удивлением смотрел на криво-дергающиеся губы и закрытые глаза, и не знал, что делать.

13.

Жизнь продолжалась обычно-спокойная. Правда, иногда она разнообразилась мелкими событиями, о которых вскользь говорили офицеры, собирающиеся вечерами в казино, к большому, уютному столу, на темной скатерти которого так красиво вырисовывались тонкие бокалы.

Недавно в лагере расстреляли четверых. Об этом тоже перебрасывались ленивыми словами. Иногда, правда, бывали события, которые увлекали, вызывали споры и предположения. Во Францию, например, был командирован фельдфебель. Удастся ли ему привезти новый запас вин? Это не могло не интересовать всех, так как вино в погребе было на исходе, а законные пути пополнения весьма малы. Потом, итальянские фрукты... За всеми этими тревогами как-то терялись, ничего не значили жизни заключенных. К тому же, о них думали все

эти штабс-фельдфебели, фельдфебели, целые команды прекрасно вымуштрованных солдат, отлично знающих свои обязанности.

Поэтому дни офицеров текли спокойно. Правда, ворвался не совсем обычный эпизод убийства жены заключенного, помеченного в списках под номером 12.044, а потом непонятное самоубийство лейтенанта фон Вендана в комнате, отведенной для приезжих офицеров.

Об этих двух случаях все помнили, но считали неудобным говорить о них. Только однажды, в отсутствие полковника, безрукий майор, никому, собственно, не обращаясь, сказал:

— Самоубийство лейтенанта после убийства княгини... да...

Не дождавшись ответа, майор медленно поднялся из-за стола, резко бросил сигару и, слегка сутуясь, направился к двери. Все посмотрели ему вслед, и по походке его было видно, что майору уже более шестидесяти, и что тяжел стал офицерский мундир этому старику, о котором говорили, как о знатоке России.

Майор был старым, чудаковатым офицером. И все же его любили, как осколок той, старой Германии императоров, уже ушедшей в историю. Молодые офицеры, хотя и с некоторым удивлением, но внимательно вслушивались в его слова. В особенности, когда говорил он о русских заключенных в лагере, и в узком офицерском кругу просил смотреть на них как на солдат, незримыми путями связанных с теми миллионами, которые стоят вот тут...

И майор подходил к карте, брал тщательно выточенную указку и проводил извилистую линию, вмещающую в себя несколько тысяч верст Восточного фронта.

Но этот фронт был так далеко. Здесь же все — привычно и спокойно. Дни проходили без волнений, и следующие дни не обещали ничего нового. И поэтому вызов полковником всех офицеров к себе в такое раннее время, как семь часов, сразу породил тревогу и недоумение. Ожидание чего-то непонятного и угрожающего угадывалось и в том, что торопливо пробегающий по офицерскому корпусу солдат стучал резко и повелительно:

— Пунктуально в семь, к господину полковнику...

И бежал дальше, к следующей визитной карточке, не давая никаких объяснений.

Ровно в семь утра гладко выбритые и затянутые в мундиры офицеры были в кабинете полковника. Уже подготовленные к встрече чего-то не обычного, входящие молча приветствовали друг друга и, осторожно ступая по ковру, направлялись к свободным стульям. Ни один стул не был резко отодвинут, как будто офицеры раньше, еще до кабинета, говорились встретить что-то важное в торжественной тишине.

Так же тихо и настороженно поднялись офицеры в тот момент, когда открылась дверь и вошел полковник Клейнмихель. Он медленно приблизился к письменному столу и некоторое время стоял спиной к собравшимся. Потом так резко повернулся, что многие, вопросительно смотревшие в его затылок, смущенно опустили глаза и вздрогнули, когда сухо прозвучали слова:

— Господа... Исключительное событие этой ночи заставило меня пригласить вас...

Полковник оборвал начатую фразу, оттолкнулся от стола и нервно зашагал. Он ходил по прямой: от двери к столу. Круто поворачиваясь, он изучал лица подчиненных, как бы пытаясь разгадать их мысли.

— Вам, видимо, уже кое-что известно, — не то спрашивая, не то утверждая, продолжал полковник. — Так вот: прошлой ночью, как это установлено, заключенный номер 12.044 совершил побег... Сам по себе этот случай еще ничего не значил бы, но...

Полковник остановился и почему-то взглянул на майора:

— ...но он не просто сбежал. С ним ушло семнадцать человек... а на месте, у главного входа, весь вахтенный наряд, во главе сunter-офицером, убит...

Эти последние слова были сказаны у двери. Расстояние до письменного стола полковник прошел, не произнеся ни одного слова. Со стола он взял небольшой, плотный обрывок бумаги и, протянув его вперед, как бы обращаясь к кому-то, добавил:

— Здесь написано: «Мы с вами встретимся, господин полковник.» Написано, как установило следствие, заключенным номер 12.044. Заметьте: без восклицательного знака, просто, как деловая и скучная бумага...

Полковник замолчал, ожидая вопросов. Но никто ничего не сказал. Тогда полковник спросил:

— Как вам это нравится, господа?

И этот вопрос остался без ответа.

Тогда он прямо обратился к майору:

— А вы что скажете, майор?

Майор шевельнулся пустым рукавом:

— Я?.. Он все сказал, господин полковник...

Как бы с трудом воспринимая значение этих слов, полковник Клейнмихель повторил их медленно и как будто только для себя:

— Он... все... сказал...

14.

Ефрейтор Карл не был удивлен, когда по распоряжению помощника коменданта он стал денщиком господина полковника. Карл всю свою жизнь где-то и на кого-то работал, и с таким же старанием принялся чистить сапоги господина полковника Клейнмихеля, как некогда хозяинничал среди цветов госпожи фон Венден. Свою новую работу он выполнял с тем большим удовольствием, что чувствовал какую-то связь полковника с семьей фон Венден. К тому же он был определенно уверен, что полковник искренне любил погибшего молодого офицера. Вера эта покоилась на тех скучных слезах, которые видел ефрейтор Карл на глазах полковника в тот день, когда он, ефрейтор Карл, сидел на стуле в кабинете полковника и все рассказывал...

Поэтому Карл и не удивлялся тому, что теперь на столе полковника, в совсем простой деревянной рамочке, всегда стоял портрет молодого лейтенанта. И не удивился, когда несколько недель спустя, полковник позвал ефрейтора и сказал:

— Карл, я получил письмо от госпожи фон Венден... Она пишет... да, она обо многом пишет, Карл, и тебе просит передать привет...

Полковник сидел за своим письменным столом и говорил совсем тихо, и осторожно поглаживал письмо, как будто оно было очень хрупкое и нежное.

— И мы с тобой поедем к госпоже фон Венден... Поедем Карл?

Ничего не мог ответить ефрейтор. Он просто задохнулся от радости увидеть свои родные места, свой Рейн и вдали поднимающиеся лесные горы.

А потом он не верил, что это его, ефрейтора Карла, садовника, несет скорый поезд к западу. Со счастливым лицом выбегал он во время стоянки поезда из своего вагона и торопился к вагону первого класса, чтобы спросить, не угодно ли господину полковнику что-либо приказать.

Карл удивлялся, ему даже становилось неловко, что полковник ничего не приказывает и во все время стоянки поезда говорит с ним о том саде, который он увидит, и о цветах, в нем растущих. Однажды Карл прямо-таки растерялся. Это произошло в тот момент, когда полковник спросил:

— Скажи, Карл, а ты узнаешь госпожу фон Венден?

От удивления Карл даже плечи приподнял. Господи, не узнать госпожу фон Венден?

— И господин полковник ее сразу узнает, так она хороша и так похожа на своего Фридриха, на лейтенанта, господин полковник...

Карл был прав. Когда навстречу полковнику Клейнмихель поднялась дама, он в ней сразу узнал госпожу фон Венден. Ее лицо ему было знакомо: это было лицо ее сына, но более тонкое, нежное и удивительно красивое спокойной красотой сорокалетней женщины. Она протянула полковнику руку и пригласила сесть.

— Расскажите, полковник, как все произошло...

Полковник Клейнмихель рассказал. Да, это был несчастный случай, во время осмотра пистолета. Такие случаи редки. добавил полковник, но...

Госпожа фон Венден покорно смотрела в сторону. Казалось, она не слышит, о чем он говорит; она ничего не видела, так были заполнены ее глаза не могущими вылиться слезами.

Когда полковник закончил свой рассказ, он взглянул в ее лицо и поразился глубине горя. Что-либо говорить, утешать он уже не мог.

Потом полковник склонился и тихо поцеловал ее руку чуть-чуть повыше двух золотых обручальных колец. Зачем он это сделал, полковник и сам не знал. Может быть это была безмолвная мольба о прощении... А когда госпожа фон Венден нашла силы разрыдаться, этому он не удивлялся и спокойно смотрел, как она плакала, по-детски прижимая двумя руками платок к глазам.

Полковник понимал, что ему надо уйти, в одиночестве оставить рыдающую женщину, дать ей возможность успокоиться. Но он не уходил, не мог подняться из кресла и сквозь полузакрытые глаза видел, как беспомощно поникли ее плечи.

Потом она отняла платок от глаз, без всякого удивления посмотрела на полковника и сказала:

— Фридрих — мой единственный... это был мой сын.

В этот вечер было сказано очень мало слов. Полковник осторожно хранил тяжелую тайну, чтобы избавить мать от тяжести правды. Поэтому он и прятал самоубийство ее сына в лживой, вымышенной истории случайного выстрела.



Здесь, в небольшом городке на берегу Рейна, он провел несколько дней.

И каждый раз, уже в темноте возвращаясь к себе в отель, он думал, что ему необходимо немедленно уехать. И не уезжал.

В одно совсем раннее утро он проснулся с ощущением услышанных, как-будто кем-то очень близко произнесенных слов. Полковник быстро встал со своей мягкой постели и подошел к окну. Площадь была пуста. Справа поднималось солнце. Кто мог сказать эти не произнесенные слова? И вот тут перед глазами полковника возникли седеющие волосы княгини и темное пятно крови на паркете кабинета. Воспоминание было тяжелым. Полковник прислонился к еще по-утреннему прохладному стеклу громадного окна, и постепенно картина прошлого стала тускнеть и рамка седеющих волос княгини мягко обняла бледно-печальное лицо госпожи фон Венден. Вслед за этим появилось странное ощущение легкости, как-будто полковник утратил часть своего веса и вновь стал молодым и надеющимся.

Постепенно, совсем независимо от желания полковника Клейнмихеля, родилась уверенность, что все, когда-то по-пустому растроченное, может быть возвращено. Может вернуться способность видеть жизнь такой, какой видел ее молодой лейтенант Венден.

Да, госпожа фон Венден — мать молодого лейтенанта. И опять, совершенно неожиданно, полковник Клейнмихель подумал, что за очень короткий промежуток времени он встретил двух женщин, княгиню и госпожу фон Венден, каких он раньше не встречал и в существование которых не особенно верил. Оказывается, они есть, и увидев их, полковник понял, что он любит госпожу фон Венден и может жить мыслями и переживаниями того, уже умершего, молодого лейтенанта.

Поверив этому, полковник Клейнмихель весь отдался во власть новых чувств. Он не спрашивал себя, как она относится к нему. Он видел, что в его присутствии она успокаивается, что созданная легенда о случайной смерти сына, повторенная десятки раз, помогла ей найти утраченное спокойствие.

Поняв, что она, мать Фридриха фон Венден, в свое одиночество охотно вводит и его, полковника Клейнмихеля, на руках которого умер ее сын, полковник в один день, в саду, рассказал ей все о себе. И закончил:

— Вы стали одинокой... Я всегда был одиноким, никому не нужным... Теперь я другой: я люблю вас...

Она не испугалась его слов. Она только побледнела и спросила:

— Посмотрите на меня и на себя... Не слишком ли поздно судьба нас столкнула? Вы мне дороги... вы последний, кто держал моего сына на своих руках... Но я... я не могу верить, что вы были таким,

как вы о себе рассказываете... Я вижу вас сегодняшним... и все-таки...

— Хорошо, — сказал полковник. — Слишком поздно... Но я вас люблю так, как... мог любить ваш сын княгиню...

Последние слова полковник произнес совсем тихо. Он не представлял себе, что скрытый смысл их ярким озарением поразит сердце матери.

— Что? Что вы сказали? — воскликнула она и ее пальцы с силой сжали руку полковника. — Говорите! Если вы любите меня — говорите! Только правду...

Да, он любил ее и он ей все рассказал. Он ничего не утаил, ни одной детали не скрыл, даже передал слова старого садовника Карла о последних минутах лейтенанта Фридриха фон Венденя. Только после этого он замолчал, глядя в бледное, утратившее кровь лицо госпожи фон Венден. Потом она встала и, вполне владея собой, протянула полковнику руку:

— За... правду... спасибо. Мой сын мертв, но... это был мой сын. Мой! Прощайте, полковник...

15

Безрукий майор раньше других заметил, что в последнее время полковник Клейнмихель как-то постарел. Теперь он часто подолгу сидел в глубокой и сосредоточенной задумчивости. Он все реже и реже стал появляться в казино и, наконец, дело дошло до того, что любимое мягкое и уютное кресло полковника стали занимать даже младшие офицеры.

В кабинет полковника попасть было уже не так просто. Даже идущих по делу офицеров встречал штабс-фельдфебель и с мягкой настойчивостью говорил:

— Господин полковник не принимает... обратитесь к господину майору.

Исключение составлял майор. Только один он мог войти к полковнику, причем сам полковник Клейнмихель, подчас в неурочное время, просил его зайти в кабинет.

Бывали случаи, что явившийся по вызову майор просто сидел в кресле, курил и читал газеты. Полковник или ходил из угла в угол или тоже сидел, и все это, иногда, не нарушалось ни единым словом. Подчас даже казалось, что полковник не замечает присутствия майора, не слышит и шелеста переворачиваемой им газеты.

Но чаще всего бывало так, что полковник задавал несколько вопросов, потом садился в глубокое кресло и, закрыв глаза, умолкал. Майор как будто бы понимал, что кроется за этим выжидающим молчанием и начинал медленно говорить о Востоке, обо всем том, что так или иначе относилось к той таинственной территории, в которую глубоко смогли войти немецкие войска, но не сумели там чего-то разгадать.

Иногда, совершенно спокойно, полковник рассказывал о себе и, наконец, майор узнал все, что произошло во время посещения им госпожи фон Венден.

— Что вы скажете, майор?

Майор пристально посмотрел в глаза полковника.

— Может быть... вы пришли к счастью, но... дорогой ценой...

— Да... может быть... Слушайте, майор: если бы я искренне, глубоко верил в Бога, мне оставалось бы или замаливать мои грехи или... убить самого себя. Но я простой человек, совсем слабый человек: все это мне не под силу... Но я обрадовался чувству настоящей любви, обрадовался, что понял теперь и лейтенанта фон Вендена и того... под номером 12.044.

Но все же полковник Клейнмихель кое-что скрыл. Поэтому майор не знал, что письма, отсылаемые в городок у Рейна, оставались без ответа. Правда, они не возвращались назад, но госпожа фон Венден ни разу, ни единой строчкой не ответила полковнику.

В последнее время полковник всю поступающую в штаб корреспонденцию пересматривал сам. Торопливо прочитывая адреса, он отбрасывал письма и устало уходил к себе. В кабинете, сидя в кресле, он как бы засыпал. Но так только казалось. На самом деле он тяжело и напряженно думал об этом не полученным письме.

Но однажды пришло письмо, которое с такой упрямой настойчивостью хотел получить полковник. И вот оно пришло, оно здесь и, странно, страх, настоящий страх охватил его. Даже понадобилось усилие воли, чтобы смягчить нервные перебои сердца.

Письмо лежало перед ним на столе, совсем простое, в слегка кремовом конверте, и мало чем отличалось от других, ежедневно поступающих с почты. Но оно хранило в себе какую-то пугающую неизвестность. Наконец, полковник Клейнмихель взял письмо и медленно, как бы проверяя себя, начал открывать конверт. Узкий лист бумаги, казалось, стал таким тяжелым, что вздрагивающие пальцы с трудом его развернули...

Часть вторая

1

Раньше полковник Клейнмихель мог совершенно равнодушно смотреть на выгоревшие деревни и разрушенные города. Он даже был уверен, что этим равнодушием он утверждает свое внутреннее я, свою непоколебимую правоту. Хитрил ли он перед самим собой или на самом деле верил, что огнем и кровью покрытая земля не может тронуть его настоящее солдатское сердце, в этом полковник не считал нужным разбираться. Он просто-напросто принимал действительность такой, какая она есть. Это было тем более легко, что полковник видел деревни в огне, разрушенные города и расстреливаемых людей здесь, на чужой, таинственной и притаившейся земле.

Когда-то, много раньше, в беседах с безруким майором, он серьезно говорил о своем равнодушии к жизни, о том, что он проходит, не замечая всего этого.

Даже доходившие вести о гибели своих отборных частей не волновали его, вызывая только своеобразное любопытство, сводящееся к простому подсчету. Если эта гибель оправдывалась захватом громадного куска неприятельской территории и крупных городов, полковник одобрял эту затею. Если потеря тысяч жизней взамен ничего не давала, он морщился с видом человека, обнаружившего, что за купленную вещь слишком много и легкомысленно заплачено.

Когда мимо него проходили молодые веселые солдаты, отправляющиеся на фронт, он сразу же угадывал их боевые качества. Совершенно легко и почти безошибочно он устанавливал, в полном ли составе двигается полк или батальон. Но он никогда не думал о солдатах, составляющих воинскую часть, как об обычновенных людях, имеющих свою собственную жизнь и свою собственную судьбу. Перед ним было всего-навсего войсковое соединение, очень громоздкое, но мало чем отличающееся от сложного механизма.

Таким был полковник Клейнмихель в недалеком прошлом. Но с некоторых пор он должен был признаться самому себе, что уже не может по-старому смотреть на жизнь. Как человек, силой громадного течения оторванный от берега, не может вернуться назад, а обязан плыть в противоположную сторону, так и полковник Клейнмихель вынужден был, пусть даже с сожалением, но ити к чему-то новому. И направляясь по уже новому этому пути, полковник с каким-то особым, обостренным чувством воспринимал все, сейчас возникающее перед ним. Каки-

ми-то другими глазами смотрел он на мир и уже не видел просто роту или эскадрилью. Как недавно и неожиданно освободившийся от слепоты, он жадно разглядывал отдельного солдата, каждого человека, с которым ему приходилось теперь встречаться.

Это новое искренне радовало полковника Клейнмихеля и, как человек обретший веру, он должен был найти и того, кто дал ему возможность почувствовать себя другим. Он любил думать об этом, и приходя к логическому концу в своих мыслях, обязан был перешагнуть через многое, через труп молодого, застрелившегося лейтенанта, вспомнить свой собственный выстрел в уютном кабинете далекого тыла и приблизиться к госпоже фон Венден. В глубокой тоске он произносил ее имя, был ей благодарен за прощение и клялся своей любовью. Он думал о том, что поздно пришла эта любовь... но она пришла, и этим все искупалось.

Ему часто вспоминались слова безрукого майора: «Не слишком ли дорогой ценой вы пришли к счастью, полковник?». В этих словах была пугающая своей откровенностью жестокость. В них до сих пор звучало осуждение. Но безрукий майор остался там, в тылу. Полковник Клейнмихель был вновь на фронте и, вспоминая прошлое, ему хотелось многое забыть.

Прежнего полковника Клейнмихеля — нет. Этот новый полковник Клейнмихель, опять вернувшийся на Восток, очень часто писал госпоже фон Венден. В письмах он говорил не о любви, это было ненужно, так как в каждой фразе сама госпожа фон Венден чувствовала любовь. Он писал ей обо всем, что он и как он теперь видит, он рассказывал о том, о прежнем полковнике Клейнмихеле и о новом, о том, которого она благословила простым крестом, освободив его от тяжести вины за ненужную смерть и ее сына и той, которую любил ее сын.

2

Название этой деревни никак не мог запомнить полковник Клейнмихель, хотя штаб авиационного корпуса помещался в ней уже второй день. Вот и сейчас, идя со своим адъютантом по грязному снегу улицы, полковник спросил:

- Как называется этот пункт?
- Тищегоща, господин полковник...
- Да... посмотрите сюда,ober-лейтенант.

Они остановились. Над ними было черное, зимнее небо; оно казалось сплошным, бесконечным, не имеющим никакого отношения к этой улице, с правой стороны которой горели дома. Сильные и радостные космы пламени вырывались из-под крыш жалких, деревянных построек, бились над ними, как будто спешили оторваться, улететь к небу, смутить его равнодущие и увлечь в веселую огненную игру.

Адъютанту было холодно и скучно. Ему хотелось скорей дойти до избы, в которой помещался штаб полка, где было оживленно и чуть-чуть пьяно. Но он вынужден был стоять и мерзнуть и думать об ужине, о том, что сегодня должно быть вино. И он удивлялся, как может

этот старый боевой полковник интересоваться такой обыкновенной картиной фронта. Да, что-то дико-феерическое есть во всем этом, напоминающем какие-то картины истории, но... умно ли из-за этого стоять на холоде, когда так тепло в том доме, где расположено офицерское казино. Адъютант с досадой передернул плечами.

Полковник Клейнмихель с каким-то болезненным любопытством продолжал всматриваться. С поразительной отчетливостью он видел колеблющееся, иногда западающее пламя догорающих домов, решительные, уверенные профили солдат, угрожающее поблескивание автоматов и изредка появляющиеся носилки, на холсте которых была видна свежая, человеческая кровь.

Во все это с пристальностью анатома вглядывался полковник Клейнмихель и казалось, что он старается ничего не пропустить, все запомнить, как будто это было сейчас самым важным и интересным в его жизни.

Хотя была ночь и свет пожара неровный и какой-то блуждающий, полковник Клейнмихель очень ясно улавливал лица, выражения и даже очертания губ отдельных солдат. Ощутив легкое сердцебиение, он почему-то пришел к полному осознанию очень простой мысли, что у каждого этого солдата есть свое имя и своя фамилия, и что каждый из них думает о чем-то своем, нужном и серьезном, совсем не похожем на мысли самого полковника.

Наконец, он двинулся вперед. Адъютант облегченно вздохнул и даже с некоторым сожалением подумал, что этот боевой и знаменитый полковник авиации начинает стареть.

Когда они подошли к одному, как будто нарочно подожженному дому (так весело бушевало на нем пламя), полковник Клейнмихель опять остановился и рукой придержал адъютанта.

— Посмотрите,ober-лейтенант...

Они остановились около группы солдат, получающих пищу из полевой кухни. Кухня расположилась настолько близко к горящему дому, что крупные искры, мягко выписывающие в черном небе огненные линии, медленно опускались и гасли на стальных касках.

Адъютанту эта остановка казалась совсем не нужной и не интересной. Он зябко передернул плечами и молчал...

— Вы сюда... сюда посмотрите.

Адъютант повернулся и увидел, как грязные, обветренные солдаты со смехом получали жирный, горячий суп и, переступив уже почти растоптанный труп женщины, отходили на несколько шагов.

— Как они могут... — тихо, про себя произнес полковник.

Адъютант посмотрел на полковника Клейнмихеля и увидел его полузакрытые глаза. Это вывело адъютанта из себя, и уже с трудом сдерживаясь, он сказал:

— У молодости, господин полковник, хороший, нерассуждающий аппетит... надо спешить проглотить пищу в то короткое время, которым они отделены от могилы...

Полковник ничего не ответил. Казалось, все его внимание было поглощено растоптанным трупом и жадно жующими солдатами. Потом, как бы с трудом оторвавшись от этого зрелища, он обратился к адъютанту:

— Да... такие солдаты все могут сделать... Но... но ведь и по ту сторону находятся тоже солдаты... Неужели и они могут... неужели и они такие же, способные перешагнуть через труп, чтобы получить свою порцию супа... И смеяться...

Адъютант вначале с удивлением смотрел на полковника, потом стал с интересом прислушиваться к его словам. В них прозвучало что-то такое, что заставило адъютанта увидеть перед собой не просто стареющего офицера, а человека думающего, причем думающего мыслями самого адъютанта.

Теперь адъютант понял, что длинные остановки, разглядывание пожара, всматривание в лица солдат, двигающихся в ночной, наполненной отсветом огня темноте было не простое, случайное любопытство. Убедившись в этом, он почувствовал глубокую симпатию к полковнику Клейнмихелю с одновременно возникшим сожалением за свое недавнее против него раздражение.

Непреодолимое желание как-то искупить свою вину было настолько велико, что адъютанту захотелось просто, по-человечески дать понять полковнику, что все, происходящее тут, очень сложно.

— Знаете, господин полковник, — сказалober-лейтенант, — все это потому, что вы и я, мы все рассматривали их только издали, судили о них тоже издали, по донесениям, сводкам и докладам... Так мы составляли мнение о наших врагах, и мы думали, что мы правы. Мы были уверены в этом, и доказывали свою правоту другим. Таких как мы было много... очень много. Это плохо, но еще хуже, что те многие, несмотря на горькие разочарования, на жизнь, которая опровергла их убеждения, ничему не научились и продолжают действовать по-старому... Такие же, как мы сейчас, мы вот стоим тут, в эту страшную зимнюю русскую ночь, видим все это: и распростертую женщину, и свою молодежь, уже обреченную, ненужно обреченную и...

Адъютант замолчал. Полковник спросил:

— Ну, что же? Чего?

— Что? Мы с вами, господин полковник, пришли к определенным выводам... Мне так кажется, господин полковник, мне почему-то так кажется. Может быть я ошибаюсь, но если я ошибаюсь...

— Нет,ober-лейтенант, вы не ошибаетесь... Но что же делать?

— Что делать? — переспросил адъютант. — К сожалению, мы с вами ничего не сможем изменить. Нас слишком мало. И потому что нас мало, мы — все — уже на краю гибели... И нет людей, которые бы могли заявить об этом...

— Да, да, — торопливо произнес полковник. — Прошло меньше года, как я был здесь, и случилось невероятное и совершенно непонятное. Где объяснения? Ведь эти сегодняшние наши противники — они не были врагами нам... А теперь?

— О, — медленно ответил адъютант, — с тех пор произошло нечто, о чем невозможно рассказать в двух словах... Те люди изменились... они стали совсем другими. Вот в чем дело... Почему? Это особый вопрос, на который у нас с вами, господин полковник, видимо есть ответ... Но мы пришли к краю могилы, и чтобы как-то спастись от гибели, надо узнать этих людей, не их форму, не расположение их воинских частей или вооружение... надо узнать и понять их душу. А для

этого надо стать к ним поближе, отбросить прежние представления о них, как о рабах, надо внимательно поговорить с ними...

— Да, да, — задумчиво проговорил полковник Клейнмихель. — Да... но надо знать их язык...

Кухня уже закончила раздавать пищу. Правый угол горящего дома вдруг рухнул, как будто для того, чтобы брызгами огненного фонтана украсить тревожную декабрьскую ночь, вздрагивающую от толчков совсем близких взрывов.

Полковник Клейнмихель оглянулся по сторонам и вслушиваясь в тяжелую, равномерную канонаду, сказал:

— Да... все это очень, очень сложно...

3

Конечно, и здесь попытались создать нечто, напоминающее казино. Но оно совсем не было похоже на то, в глубоком тылу, куда даже не долетали неприятельские самолеты.

Мало уюта было в этом бедном, деревянном крестьянском домике, куда по вечерам собирались свободные от службы офицеры. Шершавые скамьи, откуда-то привезенные шаткие стулья и два-три грубых стола — это было все, что мог дать здешний комфорт. Не было даже кресла, в котором так любил отдыхать полковник.

И все же сюда собирались, приходили посидеть у оплывающих свечей, вспоминая о недавнем и убаюкивая неба надеждами на будущее. К тому же здесь все-таки было вино, шоколад, иногда появлялась русская горькая водка в дополнение к свеже изжаренному гусю. Все это не могло не привлекать офицеров.

Здесь же были сосредоточены и новости, идущие оттуда, с далекой родины; здесь же говорилось о многом, с чем неожиданно пришлось столкнуться, наконец, о том, что где-то составляемые планы могут быть и не выполнены.

Когда начинали говорить о войне, утратившей здесь на Востоке, характер занятной и легкой прогулки, обычно самым настойчивым оказывался адъютант. Он был немного смешон в своем стремлении что-то опровергнуть и доказать необходимость перемены взгляда на войну и на народ, с которым ведется эта война. Офицеры, обычно, на смех поднимали адъютанта, говорили, что он идеалист, что грань между Востоком и Западом — реальная вещь, а не выдумка.

Полковник Клейнмихель вслушивался в эти горячие споры и думал о чем-то своем, о новом, чем он сегодня жил.

Однажды, наедине, он сказал адъютанту:

— Да, вы, видимо, во многом правы... Я хотел бы в чем-то увериться, встретиться с ними, поговорить... Но как? Как это сделать?

— Надо найти хорошего переводчика, господин полковник...

— Где его тут, на передовой линии, найдешь?

Как бы что-то вспомнив, обер-лейтенант быстро встал:

— Простите, господин полковник, я на одну минуту...

Через некоторое время он вернулся и доложил:

— Вы можете, господин полковник, иметь отличного переводчика. В распоряжении майора-зенитчика не так давно прибыл фельдфебель, идеально говорящий по-русски. Майор сам здесь скоро будет и вы сможете все остальное устроить, господин полковник...

Полковник Клейнмихель ничего не ответил и задумался. Уже ставшая привычной и старой мысль о том, что надо что-то изменить, что-то предпринять вновь завладела им.

— А, может быть, обер-лейтенант, и есть еще время узнать душу этой территории, которую мы так упрощенно называем Востоком. Душу людей, так неожиданно повернувшихся открытым лицом к нашему старому Западу...

— Не знаю, господин полковник... — ответил адъютант. — Во всяком случае для меня ясно одно, что пора перестать зубоскалить над этими забитыми и такими наивно-доверчивыми людьми... Я к этому пришел не путем каких-то отвлеченных размышлений: сама жизнь заставила меня так смотреть на эту странную, громадную и чужую землю...

— Знаете, обер-лейтенант, в чем трагическая ошибка? В незнании народа, вот этого самого народа, в чью землю мы вошли. Ошибка в том, что нам всем, всему нашему народу насилием прививали дикую в своей несообразности идею какого-то преимущества... И мы поверили в это... Да как было не верить, когда все подтверждало правоту этой идеи. И всюду, кроме... вот этого самого странного Востока. Помните, обер-лейтенант, как раньше здесь все было просто. В эту чужую землю пришли мы, пришли наши корпуса и дивизии, и нас встречали радостно-просветленными лицами. Помните: миллионы имели винтовки и не хотели стрелять; города и села встречали нас хлебом-солью (такой у них обычай встречать долгожданных гостей), миллионы с оружием пришли к нам, на нашу сторону, и у них была только одна просьба... Помните... И вот в этом значительном движении мы ничего не захотели ни понять, ни рассмотреть, а все это движение выдали за подтверждение нашей до конца ложной идеи. Ведь мы сами, наши журналы и газеты подняли вой: рабы — суть рабы и всегда должны оставаться рабами. Вот что мы захотели увидеть в этих простых, радостных и просветленных лицах, в их праздниках... Мы выдавали себя за цвет цивилизации. Мы оказались слепыми и недальновидными, умеющими мыслить голыми и выдуманными схемами... забыв о людях, мы превратили их в объекты мертвой статистики. И вдруг оказалось, что эта статистика возведена на весьма зыбкой и скользкой почве... а может быть и вообще-то почвы никакой не было, — неожиданно закончил полковник Клейнмихель, — а были просто люди, которых никто не хотел принимать в расчет...

В этом домике, расположеннном так недалеко от тех мест, где столкнулись, и столкнувшись, стоят армии, пока что выжидающие своего часа, были полковник и адъютант, чутко вслушивающиеся не в грохот канонады, а в тихий ход своих мыслей. Может быть по-разному, но они думали об одном и том же. И очень ясно представляли себе всю гигантскую военную машину, которую бросила сюда их страна, всю ту силу орудий, моторов и солдат, перед напором которых совсем недавно так сказочно-легко падали государства.

И здесь началось было то же самое. И вдруг этот мудро управляемый, настойчивый в стремительном беге шквалом полков, батарей, ла-тающих машин и грохочущих танков сразу и беспомощно остановился. И не потому, что он достиг какой-то естественной, трудно-преодолимой пропасти. Нет, остановился на совершенно ровном и не укрепленном месте.

Это было самое удивительное, и в этом была загадка. Сущность ее казалась такой простой и легко-разрешимой. И вместе с тем вдруг приблизившееся разрешение сразу отодвинулось, потеряло намечавшиеся формы, расплылось, чтобы опять обмануть простотой и легкостью разгадки. И сейчас осталось единственное, вполне ясное и категорическое, прочно вошедшее в сознание полковника Клейнмихеля решение, что ответ на все надо искать в них, в этих восточных людях, которые вдруг захотели умирать за свою обширную, бедную и такую обездоленную землю. На это желание натолкнулась та армия, к которой принадлежал и сам полковник, и его адъютант.

Обо всем этом думал полковник Клейнмихель и вспомнил о недавнем предложении адъютанта иметь хорошего переводчика. Эта мысль была неожиданной, но очень настойчивой, как будто могущей что-то поправить. Понимая, что уже ничего нельзя изменить, полковник все же сказал:

— Дайте трубку,ober-лейтенант...

Майор-зенитчик ничего не имел против откомандирования переводчика-фельдфебеля в авиаполк.

— Пожалуйста, господин полковник. Сейчас же сделаю и перевод... Что? Привезти с собой? Прекрасно, господин полковник.

4

Полковник Клейнмихель продолжал себя убеждать, что ничего не переменилось и все остается старым. В то же время в письмах, которые он отсыпал госпоже фон Венден, он невольно опровергал самого себя простыми словами, мелкими, совсем не глубокими мыслями, какими-то обрывками фраз, случайно, не к месту высказанными. То, что полковнику казалось очень обыкновенным, для госпожи фон Венден было откровением. В этих мимолетных описаниях отливающего мертвенней бледностью ночного неба, в мельком высказанной мысли о лжи, рождающей равнодушно расталтываемые трупы, о тоске при взгляде на молодое, красивое лицо юноши, прикрытое стальной каской, во всем этом она видела не слова и фразы, а душу уже стареющего полковника. Это ее не огорчало. В этом для нее была радость, это было утешением, искуплением за сына.

Однокая, она жила письмами полковника и знала, что ее ответные письма — единственно нужное, что он сейчас имеет. И она не ошибалась. Правда, она не догадывалась, не могла представить себе всю глубину одиночества полковника, его растерянность перед совершенно новыми, непонятными ему самому мыслями.

Не знала она, что в последнее время полковник Клейнмихель с не-постижимой настойчивостью стремился к ночных наблюдениям. Как

только темнело, он выходил и смотрел на зарево пожаров, отражающееся в холодном, черном небе. Продолжалось это подолгу, так как было много времени для наблюдений: темнота приходила рано и продолжалась почти пятнадцать часов.

Его уже не тянуло в казино. Выйдя в ночь, он стоял под открытым небом, слушал стон чужой земли и смотрел сначала вперед, потом налево и, наконец, направо. Всюду горели незнаемые города и деревни. Иногда он мог видеть стелющиеся пятна темно-серого дыма. И чем больше он всматривался, тем яснее и яснее вырисовывались грустно волнующие и непонятные картины. Что-то библейское было в них. Казалось, сам древний Бог отвергает дым приносимой ему жертвы.

С надеждой оглядывался полковник назад. Ему хотелось найти кусок обыкновенного неба над совсем обыкновенной землей. И не находил: позади фронта тоже что-то горело. Весь мир казался заключенным в огненный, последний круг, из которого уже нет выхода.

Ощущение этой безысходности было настолько отчетливое, что полковник прикрыл глаза, и как бы спасаясь от действительности, шептал имя женщины с берегов Рейна. Он пытался вызвать ее образ — и не мог. И странная, тяжелая уверенность, что он ее больше никогда не увидит, сжимала его сердце и заставляла глубоко вздыхать, и думать о безруком майоре, который сумел заглянуть далеко вперед, и предугадать то, чем сейчас живет полковник.

Офицеры не могли не заметить странностей полковника. Они с удивлением смотрели, как полковник с наступлением темноты покидал жарко-натопленную избу, часами стоял на морозе и во что-то вслушивался. Постепенно к этому настолько привыкли, что каждый, кому надо было говорить с полковником, передать поручение штаба или пригласить к телефону, вначале оглядел небольшой двор и только после этого входил в дом.

Так случилось и в этот предрождественский вечер. Дежурный офицер, идя с докладом, вначале оглянулся и, увидев облокотившегося на подбитое орудие полковника, подошел к нему:

— Военнопленный летчик, господин полковник, согласно вашему распоряжению, в кабинете...

— Летчик? — с недоумением спросил полковник. А потом, как будто что-то припомнив, сказал: — Ах, да... Хорошо, лейтенант, идем...

И уже поднявшись на расшатанные ступеньки, полковник остановился перед открытой офицером дверью и вновь внимательно посмотрел вокруг.

Только после этого он вошел в свою большую крестьянскую комнату и увидел медленно поднявшегося со стула уже немолодого, раненого в плечо военнопленного. Клейнмихель подошел к нему и неожиданно просто заставил его сесть. Сел сам, и пытаясь в лице этого, только вчера сбитого офицера-летчика, что-то прочитать, подумал, что старые его представления окончательно и безвозвратно рухнули. Чем это было вызвано, откуда пришли эти странные мысли, полковник не мог понять. Они его не огорчили, он даже как-то обрадовался этим мыслям, неожиданно освободившим его от большой внутренней тяжести.

Полковник Клейнмихель опять взглянул в лицо пленного и вдруг с ужасом подумал, что вот этот, сидящий перед ним раненый военно-

пленный, уже мог быть кем-то расстрелян на основании каких-то предписаний, присланных людьми, ничего не понимающими в том, что происходит здесь, на этой чужой земле. Эта мысль была дикой, похожей на кошмар или бред сумасшедшего. Он даже испугался, что пленный может о ней догадаться и отвел глаза в сторону. Только через некоторое время он опять посмотрел на раненого и увидел человека, спокойно, устало и равнодушно глядящего в темное окно и, даже, как будто не замечавшего полковника.

Иногда раненый чуть заметно шевелил плечом и тогда полковник ясно представлял себе свою рану, свою боль и свою кровь. Ему захотелось совсем по-хорошему сказать этому чужому летчику, что многое он, полковник авиации, понимает. И он на самом деле сказал об этом. Но пленный был беспомощен: язык полковника был чужд ему и ограничен отдельными, плохо связанными между собой словами.

Полковник Клейнмихель еще раз пристально посмотрел на раненого и с сожалением взял трубку телефона. Через некоторое время вошел адъютант и чуть позади него отчетливо щелкнули каблуки переводчика.

Но то, что хотел сказать полковник раненому, что хотел узнать от него — было так просто в мыслях и наедине с этим пленным, и так необычно и сложно в присутствии адъютанта и фельдфебеля-переводчика. И разговор вышел сухим, казенно-деловым и даже скучно-ненужным, вроде полицейского допроса. Видимо, так воспринял это и раненый, отвечая кратко и сдержанно-сухо.

Зная уже, что нужные, могущие разрешить слова не будут сказаны, полковник Клейнмихель задумчиво покачал головой. Горькое, поздно пришедшее сожаление, смысл которого был неуловим, заставило его ухватиться за последнюю возможность что-то понять. Не поворачиваясь к переводчику, продолжая смотреть на раненого, полковник сказал:

— Вот, фельдфебель, это ваша первая, большая, очень интересующая меня работа...

Полковник Клейнмихель умел отдавать распоряжения и объяснять. Фельдфебель сверхсрочной службы умел вникать в смысл сказанного и выполнять приказы.

— Самое главное, фельдфебель, меня интересует — поймите! — не сведения о его части, не базы снабжения, а все то, о чем я вам уже не один раз говорил. Меня интересует их душа, интересует неожиданный источник той духовной силы, которая сумела, накануне их полного военного поражения, подняться и...

— Так точно, господин полковник.

— И все это изложите не в виде допроса или протокола, а так... понимаете?

— Так точно, господин полковник. Я все понял...

Это так не по-обычному сказанное «я все понял» почему-то вдруг взволновало полковника. В этом почудилось что-то важное, какое-то обещание, какой-то намек.

Полковник некоторое время внимательно вслушивался в звучание чужой речи. Он даже обрадовался, заметив оживление в глазах пленного, легко и звучно разговаривающего с переводчиком.

— Вы меня поняли, фельдфебель? Поняли так, как я хочу быть понятым?

— Я понимаю вас, господин полковник, я понял, что вам нужно. И я сделаю, потому что...

Переводчик замолчал. В этой оборванной, незаконченной фразе опять скользнул какой-то намек и полковник почувствовал его очень легко.

— Потому что... Что?

— Потому что... потому что я понял вас, господин полковник...

Этим не было все сказано. Полковнику стало ясно, что если бы здесь, в этой крестьянской избе, не было адъютанта, фельдфебель сказал бы еще что-то. Что было бы сказано, это осталось тревожной тайной, заставившей полковника пристально взглянуть на фельдфебеля.

Полковник Клейнмихель попрощался с пленным и, обратясь к адъютанту, уже по-французски, сказал:

— Этим переводчиком я очень доволен,ober-лейтенант. Мне приходилось прибегать к его услугам, говорить с ним, и я, знаете ли, иногда просто поражаюсь, до чего много среди нашего простонародья удивительно способных и умных... Да, так о чем я? Я думаю, что эта записка будет удачна; она многое объяснит несколько с других позиций то, к чему мы подходили, пытаясь разгадать этот «восточный вопрос»... Я эту записку дополню своими наблюдениями и размышлениями, а потом передам главному командованию... Довольно крупные связи у меня есть, и поэтому полагаю...

— Простите, господин полковник...

Полковник Клейнмихель с удивлением оглянулся на фельдфебеля:

— Пока вас не спрашивают, вы должны молчать, фельдфебель!

— Простите, господин полковник, я хотел сказать, что французский язык мне так же близок, как родной...

5

Полковник Клейнмихель любил лес. Он привык к нему с детства, с тех пор, как мальчиком выбегал из своего сада и сразу видел стройные, вытянутые линии сосен и чистоту опавшей хвои. Подрастая, без волнения наблюдал за правильной вырубкой тех деревьев, к которым он уже успел привыкнуть, и со знанием дела следил, как вновь производится подсев семян, из которых будущей весной поднимутся радостно наивные и молодо-зеленые бугорки сосенок и елей.

В этом твердо установленном чередовании были определенные, привычные законы, с которыми сжился полковник. Этим законам подчинялось все, по этим законам велось на его родине и именно так должно вестись правильное лесное хозяйство. Думая об этом, полковнику Клейнмихелю казалось, что он не только любит, но и очень хорошо знает лес. И вместе с тем, с какого-то не совсем ясного момента он пришел к неожиданному выводу, что леса он не знал. Не сегодня и не вчера родилось это сознание. Оно явилось значительно раньше, очень давно, в то время, когда он впервые ворвался со своими бомбардировщиками в этот чужой воздух.

Уже тогда, с высоты трех тысяч метров, он увидел под собой необозримую черную гущу лесов, только изредка нехотя разрывающуюся,

чтобы дать место озерам, болотам и рекам. Это было Полесье. Потом были смоленские, северные и брянские леса, плотными массивами призывающие к маленьким городам. Еще не побывав в этих лесах, он уже чувствовал, что они какие-то особенные, не те, домашние и родные, а совсем чужие и непонятные.

Потом, много позже, когда эти леса можно было осматривать, полковник Клейнмихель понял, что он увидел просто лес. Не тот, правильно посаженный, с аккуратно подобранными опавшими сучьями, с четкими и прямыми просеками, напоминающими аллеи парка. Этот лес был другим. И в нем полковник Клейнмихель ощутил изумившую его простую красоту древних седых сосен, столетних елей, на плоских ветвях которых деловито лежали десятки пудов снега. Он узнал настоящий лес, в глубине которого тихо, как в старой часовне. С изумлением поднимал полковник голову вверх и наблюдал за мощным покачиванием верхушек деревьев. Ему чудилось, что вверху тяжелыми волнами перекатывается холодный ветер и злится, что не может проникнуть сюда, внутрь этого старого леса.

И еще он узнал, что этот чужой восточный лес имеет свои особые законы, упрямо не подчиняющиеся воле человека. Фронт был тут же, где-то невдалеке, и все же здесь ночами бродили волки, вселяющие блеском своих зелено-красных глаз смутную тревогу в сердца автоматчиков. Где-то таились поджидающие красивые рыси, могущие ударом когтистой лапы располововать шею лошади. И тут же, в этих древних лесах, в пронизывающем холоде и сплошном мраке бродили люди, чувствующие себя здесь хорошо и привычно. Эти люди умели спать в снегу, казались страшно неуклюжими в своих овечьих полушибках и всегда голодными. Но они были вооружены, искали столкновений и равнодушно относились к своей жизни, требовали очень высокую расплату чужой кровью за маленький кусочек никому ненужной земли.

Полковник Клейнмихель мог понять зверей, но эти люди со своей живой ненавистью были ему непонятны.

И все же, соблюдая осторожность, полковник любил ходить в эти леса, взяв с собой хороший штуцер. Сопровождали его, обычно, фельдфебель-переводчик и два солдата.

Эти лесные прогулки скоро стали полковнику прямо-таки необходимыми, и почти так же порабощали, как ночное наблюдение за заревом пожаров. Само собой, без всякого принуждения и очень легко, родилось удивительно легкое чувство приязни к этому уже далеко не молодому фельдфебелю. К тому же полковнику нравилось, что переводчик был прекрасным стрелком, хладнокровным и настойчивым. Во всем этом полковник видел сильную, сосредоточенную волю, в которой угадывалось определенное стремление.

Полковник уже давно заметил, что фельдфебель охотно принимает участие в этих лесных прогулках. Ему как будто доставляло искреннее удовольствие говорить о деревьях, о жизни зверей, о природе вообще. Вслушиваясь в эти рассказы, полковник поражался вдохновению чужих слов. Подкупавшая прелест их была даже не в исключительном мастерстве речи, не в умении ярко передать характерное, а в том, что в этих словах чувствовалась настоящая живая любовь ко всему, о чем он рассказывал.

У полковника Клейнмихеля часто возникала мысль, что так можно говорить только о родном и кровно близком. Однажды он сказал об этом фельдфебелю и поразился, как сразу увяло его настроение и уже бледные равнодушные слова говорили о Бреме, о десятках других книг, повествующих о жизни зверей, птиц и леса. После этого случая полковник уже ни о чем не спрашивал. Внимательно вслушиваясь в рассказы фельдфебеля, он молчал и только в глубине души иногда шевелился тот же самый вопрос.

Все эти разговоры в лесу велись, обычно, по-французски: полковник не мог допустить, чтобы солдаты догадывались о его коротких, интимных беседах с фельдфебелем.

6

Приказ авиакорпусу срочно перелететь во Францию был получен вечером. Прочитав распоряжение, доставленное из штаба, полковник Клейнмихель подумал, что большинство офицеров обрадуется возможности покинуть эту холодную и неуютную страну со странными, мало-понятными и суровыми людьми. Все будут предвкушать удобства Франции. Мечты о ней будут подогреваться мыслями о легком, будоражащем вине и звонком смехе мало думающих, не умеющих страдать женщинах.

Самого полковника приказ не обрадовал и не огорчил. И вместе с тем пришло легкое сожаление при мысли о необходимости оставить неразгаданной эту страну, которую совсем недавно он так презирал. В этом чувстве угадывалось что-то роковое, какое-то смутное предопределение, от которого уже не хотелось уходить.

Отдав распоряжения, полковник Клейнмихель ушел к себе, в свою комнату, почувствовав потребность остаться в одиночестве. В этом не было ничего нового. Уже с давних пор, с того момента, как он встретился с госпожой фон Венден, он все свои мысли, наблюдения и переживания записывал в дневники. И сейчас он взялся за тетрадь, чтобы сделать последние пометки о последних минутах на этом странном и влекущем к себе Востоке.

Если бы у него спросили, что побудило его вести эти записи, он не смог бы ответить. Но он записывал все, так или иначе относящееся лично к нему. И часто, оставаясь наедине, он вынимал свой дневник, перечитывал искренне поражался, до чего изумительной и интересной может быть жизнь души вот даже такого обычного, ничем не примечательного человека, каким являлся сам полковник Клейнмихель. В этом дневнике он видел себя, рассматривал себя с разных сторон и удивлялся, насколько все в жизни сложно.

Иногда в тетради стояло только одно слово. Простое слово, но оно было записано им, полковником Клейнмихелем, записано потому, что в нем, в этом слове, заключалось нечто значительное и понятное только ему. Само по себе взятое — это единственное слово обозначало очень мало. Но для полковника оно раскрывалось рядом чередующихся картин, которые в его памяти могли возникнуть только благодаря тому за-

писанному слову, которое для кого-нибудь другого не представляло никакой ценности.

Будучи военным, полковник нашел очень удачное профессиональное сравнение: однокое слово в его дневнике является детонатором, способным взорвать прошлое и вызвать яркое сияние картин, услужливо забытых памятью. Это сравнение заставило полковника криво улыбнуться.

Было время, когда полковник Клейнмихель находил не только удовлетворение, но даже потребность сидеть в казино за бокалом вина и беседовать. Подумав об этом, он не мог вспомнить, с каких пор он стал избегать общества офицеров. И не потому, что он самого себя ставил выше их или пренебрегал ими. Нет. Просто потому, что сам полковник с каких-то пор стал совершенно другим и уже чужим для своих подчиненных.

Оставаясь офицером по форме, он четко, но уже как-то машинально выполнял все распоряжения и приказы. Его я уже не участвовало во всем этом. Становился он самим собой только тогда, когда был наедине, когда писал письма госпоже фон Венден или обращался к своим дневникам.

Так и сегодня, накануне отлета во Францию, он написал письмо госпоже фон Венден. Было оно по-обычному простое и очень теплое. Он говорил в нем, что без особой радости оставляет Восток, этот Восток, на котором, как он чувствует, все будет решено. В конце письма он просил госпожу фон Венден разрешить ему приехать в городок на Рейне. Да, он выражал уверенность, что сможет приехать туда после того, как корпус перелетит во Францию. Этой просьбой он закончил письмо и хотел представить себе день, когда он увидит госпожу фон Венден. Как ни пытался он создать картину встречи, ничего не получалось. Это привело его в недоумение, и только значительно позже он понял причину: он, полковник Клейнмихель, не верит в возможность этого свидания. Оно не состоится, оно не может состояться. Почему? Он просто верил в свое предчувствие, и этим все заканчивалось. Потрясенный и несколько растерянный, он нерешительно взял письмо и хотел в нем что-то изменить. Но этого не сделал, и уже окончательно убежденный, что он обманывает и себя и госпожу фон Венден, торопливо запечатал конверт, позвонил и отдал письмо вошедшему солдату, приказав немедленно отправить на полевую почту.

Потом, оставшись опять наедине, он долго ходил по комнате. Странное состояние охватило его. Он не думал, не пытался что-то разгадать, а беззвучно шептал: «Почему?» Иногда останавливался и пристально смотрел в одну точку, как будто ожидал услышать ответ.

Когда уже совсем стемнело, он зажег свечу, взял дневник, и все, все сомнения последних часов, записал. Он даже отметил, что ожидал услышать кем-то сказанные слова на вопрос, который он не произнес. Свою последнюю запись он закончил строкой недоумения, откуда и как пришло к нему убеждение, что с госпожой фон Венден он никогда больше не встретится.

Потом он начал быстро перелистывать страницы, исписанные крупным почерком. Быстро возникали и тухли образы и видения, как будто бы полковник спешил еще раз что-то повторить, возобновить в памяти. Закрыв последнюю, только что заполненную страницу, он глубоко

задумался. Затем, как бы стряхнув с себя тяжесть, он встал, сложил дневники-тетради, перевязал их тонкой, случайно подвернувшейся проволокой, и написал: «Переслать или вручить госпоже Урсуле фон Венден по адресу...»

Эта последняя запись как будто освободила полковника, позволила ему подняться и спокойно пройтись по комнате. Ему даже почудилось, что теперь уже все и окончательно решено, и не о чем больше думать. Из дневников госпожа фон Венден все узнает, а он сам... и вдруг полковник Клейнмихель почувствовал страшную усталость. Казалось, что он очень много дней провел без сна и теперь, обрадовавшись возможности отдохнуть, бездумно разделясь, быстро лег и уснул легко, радостно и крепко.

7.

Утро было обычное, серое; попрежнему взрывы толкали воздух.

Полковник Клейнмихель проснулся свежим, отдохнувшим и деятельным. Вчерашних тяжелых мыслей не было. Все стало естественным и понятным. Прост и близок был лес, даже хмурое небо казалось тихо задумчивым.

Потом он вспомнил о предстоящем отлете во Францию. Еще не отдавая себе отчет, что он собирается делать, полковник взял телефонную трубку и с некоторым недоумением посмотрел на нее. Потом, как будто вспомнив что-то, торопливо вызвал переводчика и те немногие минуты, которые прошли с момента телефонного звонка до появления фельдфебеля наполнились чутким ожиданием.

Легкий стук в дверь освободил полковника от напряжения.

— Вы, фельдфебель, временно прикомандированы ко мне. На днях наш корпус перелетает во Францию...

Сказав это, полковник Клейнмихель внимательно посмотрел на стоящего перед ним фельдфебеля и почему-то с радостью отметил, как вздрогнуло и слегка побледнело его лицо. Чем было вызвано это душевное движение фельдфебеля, полковник, конечно, не мог догадаться, но ему приятно было отметить и эту дрожь и легкую бледность лица фельдфебеля.

— Хотите, фельдфебель, я могу зачислить вас в кадр моего соединения и вы останетесь у нас... при мне...

Сказав это, полковник с непонятным волнением ожидал ответ и радостно улыбнулся, услышав тихо, не по-солдатски сказанное:

— Так точно, господин полковник... если вы хотите...

В тоне, каким были произнесены эти слова, полковник уловил какой-то не совсем понятный намек. Может быть, в них ничего подобного и не заключалось, может быть фельдфебель был просто обрадован возможностью уйти отсюда, уйти с ним, полковником, к которому (в этом полковник Клейнмихель теперь уже был убежден) он был привязан. Может быть только поэтому фельдфебель уклонился от уставных, чисто военных коротких ответов на заданный вопрос.

Да, сказал себе полковник, именно так оно и есть в самом деле. В это он хотел верить, и вместе с тем ему стало не по себе. Ему даже показалось, что несколько раз с перебоями ударило сердце, как бывает с человеком, в темноте наткнувшимся на неожиданное препятствие.

Предстоящий ли перелет, окончательный отрыв от этого Востока или просто потребность говорить сейчас с кем-либо по-домашнему, вызвали желание быть на равной ноге с переводчиком, беседовать с ним, забыв, что перед ним всего лишь фельдфебель. Это желание очень скоро вылилось в неожиданный и искренний порыв. Он был действительно таким, и в этом убедился полковник Клейнмихель, ощущив ранее никогда не испытанныю теплоту участия к этому человеку, неизвестно чего ради спрятавшему свой ум, свои способности, легко-угадываемую интеллигентность под этим форменным мундиром и стальной каской.

— Скажите, фельдфебель, вам грустно расставаться со всем этим...

Если бы ранее кто-либо сказал, или если бы сам полковник подумал, что он, полковник Клейнмихель, в каком-то необъяснимом душевном движении вдруг легко протянет руку для искреннего пожатия вот такому фельдфебелю — полковник со смехом отверг бы такое утверждение или предположение. А вот тут, в эту минуту, он в действительности искренне протянул фельдфебелю руку и не удивился, что она была принята без тени смущения. Фельдфебель широко открытыми глазами смотрел в глаза полковника.

Полковник Клейнмихель поразился бледности лица переводчика.

— Я думаю, фельдфебель, что вам грустно оставить все это...

Продолжая держать руку полковника, фельдфебель вниманно сказал:

— Да, господин полковник, мне очень грустно покидать эту землю и этот лес. Я хочу вам сказать, господин полковник... это, может быть, вас поразит... но я должен сказать... Я...

Необъяснимое волнение фельдфебеля, все более и более бледневшее лицо, вообще все, что сейчас здесь происходило, поразило полковника своей необычностью. Опять легкие перебои сердца ощущил полковник и уже знал, что теперь произойдет какое-то тяжелое, но нужное и очень важное объяснение.

Глубоко вздохнув, фельдфебель приподнял голову. Полковник Клейнмихель, казалось, застыл в ожидании.

В это молчание резко ворвался металлический треск телефонного звонка. Полковник с вялой покорностью взял трубку и, разговаривая, видел бледное лицо фельдфебеля, как будто продолжающего вести безмолвную беседу с кем-то уже невидимым и отсутствующим.

Положив трубку, полковник подошел к переводчику и, протягивая руку, сказал:

— Я сейчас должен быть в штабе корпуса. Послезавтра мы улетим. Я отдаю распоряжение о вашем зачислении, фельдфебель, а завтра, в восемь утра, приходите ко мне: тут невдалеке тетерева и мы с вами совершим прощальную... последнюю прогулку...

— Так точно, господин полковник...

Подумав о только что прерванном телефонным звонком насторожившемся ожидании каких-то необыкновенных слов, полковник добавил:

- Кстати, фельдфебель, солдат не берите: мы с вами вдвоем...
- Совершим нашу последнюю прогулку, господин полковник...
- Остановившись перед еще закрытой дверью, полковник вновь по-жал руку фельдфебелю и задумчиво произнес:
- Да... нашу последнюю прогулку по этой земле...

8

Тишиной встретил их лес. Старые сосны, казалось, внимательно рассматривали идущих, и в тихом покачивании верхушек деревьев чудилось мудрое понимание прошлого и горькое знание будущего.

Они шли молча. Иногда полковник Клейнмихель взглядал на фельдфебеля, видел его нервно обостренное лицо и думал, что какая-то настойчивая мысль мешает ему в этот день просто смотреть на лес, на снег, на все это, такое не похожее на их обычную жизнь.

Наконец, полковник Клейнмихель остановился. Как бы подчиняясь приказу, остановился и фельдфебель.

— Вот, фельдфебель, и последний день в этом лесу, на этой земле... которую вы так любите...

Фельдфебель стоял молча. Он нервно потирал руки.

Так потирая сухие от мороза руки, фельдфебель оглянулся вокруг и почему-то представил себе, что эти могучие старые сосны — колонны храма, а нетронутый глубокий снег — сплошной мрамор плит.

— Да, господин полковник, я люблю все это... и лес, и облака, и снег...

И уже против воли, опустив глаза вниз, совсем тихо, но мучительно-отчетливо добавил:

— Я умею любить, господин полковник...

В этих последних словах полковнику почудилась такая скорбь, что он решил шутливым вопросом помочь фельдфебелю оторваться от нее:

— И женщин, фельдфебель? Я что-то не слыхал о ваших похождениях... Неужели...

Фельдфебель опять нервно сжал руки и полковнику захотелось услышать треск суставов.

— Садитесь, фельдфебель, — сказал полковник Клейнмихель, опускаясь на широкий пень. Фельдфебель сел на другой, стоящий несколько в стороне.

— Ну, фельдфебель, итак?...

— Да, и женщину, господин полковник...

Сказав это, он глубоко задумался, прижав подбородком свои руки, сложенные на дуле штуцера. В этой глубокой сосредоточенности было что-то, заставляющее молчать. Нужно было смотреть и ожидать, но это было так неприятно и тяжело, и поэтому полковник спросил:

— Так вы, фельдфебель, любили женщину?...

— Я люблю только одну женщину, господин полковник...

В том, что фельдфебель сразу и так решительно ответил, был вызов и полковник его принял.

— Любите? Это интересно, — сказал полковник, повесив свой штуцер на сук ближнего дерева. Приняв этот вызов, полковник Клейнмихель уже не мог остановиться и подчиняясь внутреннему, еле сознаваемому движению, спросил:

— А вот, если бы эту единственную... кто-либо взял да вот так просто... застрелил...

Сказав это, полковник почувствовал такое же судорожное сердцебиение, какое он перенес совсем недавно. Удивляясь этому, он в то же время с нетерпением ожидал ответ. И он увидел, что фельдфебель, не отрывая подбородок от рук, лежащих на штуцере, внимательно, сузими глазами оглядел и пень, на котором сидел полковник, и его самого. В этом взгляде была холодная, изучающая тяжесть.

И все вдруг погрузилось в прислушивающееся молчание. Может быть, это была случайность, но полковнику на какое-то мгновение показалось, что и этот лес, и все, весь мир приглушил голоса жизни, даже фронт и тот перестал жить. Молчание разрушил фельдфебель:

— Я нашел бы того...

Полковник нервно рассмеялся. И вслед за этим смехом вдали охнула от боли земля, разрываемая бомбами; взъянно зашептались верхушки сосен о том, что происходит здесь, в лесу, и там, в стороне, где горят деревни и гибнут города.

— Ну... это... это не всегда возможно...

— Возможно, господин полковник... Я пошел бы по его следам. Куда? Мне все равно, но я пошел бы, куда ведут следы. Я шел бы бесконечно... Я ходил бы всю мою жизнь... Вы улыбаетесь, господин полковник, потому... если бы вы любили, вы бы поняли меня... Я так ходил бы всю мою жизнь, а если бы она уже была на исходе... я... я бы проклял такую короткую жизнь... Но и с проклятиями считая свои последние дни, я продолжал бы итти, я продолжал бы свой, пусть уже бесцельный, безнадежный, ничего уже не могущий разрешить путь.

Эти слова здесь, в этой холодной стране, звучали дико. И вместе с тем в них была такая сила страсти, что полковник цепко вслушивался в них, с удивлением наблюдая, как быстро меняется выражение лица фельдфебеля. Наконец, стало оно совершенно бескровным, нервно дергающимся и каким-то ломающимся. А глаза, до сих пор сухие и холодные, вдруг стали совсем пустыми.

Все это произвело на полковника Клейнмихеля гнетущее впечатление и чтобы как-то избавиться от него, он спросил:

— Вы так говорите, фельдфебель, как будто... во всяком случае, это очень интересно...

Фельдфебель резко выпрямился и положил штуцер на колени. Тогда полковнику показалось, что эти, ранее пустые глаза, приобрели способность заглянуть не только в его, полковника, глаза, но и в саму его душу.

— Если разрешите, господин полковник, я расскажу...

— О да, конечно...

— Разрешаете?

Был какой-то момент, что-то неуловимое, призывающее полковнику Клейнмихелю сказать нет. Но он этого не сказал.

— О да, конечно...

Зачем понадобился костер, полковник не мог догадаться. И все же он внимательно следил за торопливыми движениями фельдфебеля, собирающего сухие ветки, складывающего их так, как будто он предполагал остаться здесь надолго, во всяком случае на целую ночь.

Потом, когда фельдфебель, внимательно осмотрев спичку, зажег ее и развел огонь, полковнику вдруг показалось, что огонь до чрезвычайности необходим и что в огне кроется какое-то объяснение.

В том, что костер уже буйствовал игрой огня, в том, как сидел перед ним фельдфебель, было что-то, неумолимо возвращающее полковника в прошлое. И как бы торопясь вернуться к тому, бывшему позади, полковник Клейнмихель тихо произнес:

— Ну, что же, начинайте вашу...

~~Полковник~~ хотел было сказать любовную, но это слово показалось ему ненужным, пошлым, так не отвечающим чистоте этого огня, тревожному запаху смолы и глубокой задумчивости фельдфебеля.

...историю...

Сказав это очень просто, так же просто опустив сухо-казенное «фельдфебель», полковник Клейнмихель в тот же миг представил себе, что рядом с ним сидит уже не фельдфебель, а некто другой, освобожденный от связывающей его шинели, и потому могущий свободно и звучно говорить. В этом было совершенно новое, легкое и удивительно тонкое переживание.

Фельдфебель медленно поднял голову.

— Хорошо... но сама по себе эта история будет очень коротка, потому что... она почти целиком известна вам, господин полковник...

— Мне? Известна? — с искренним удивлением и шопотом спросил полковник Клейнмихель.

Фельдфебель молчал. Он, казалось, не слушал полковника, продолжая следить за ручейками пламени, скользящими по костру.

Недоумение полковника было искренним. И несмотря на это, совсем незаметно что-то шевельнулось в его душе и постепенно нарастая и приближаясь, стала яснее и яснее вырисовываться картина давнего, забытого, лично им, полковником Клейнмихелем, совершенного преступления. Оно не имело никакого отношения ни к этому костру, ни к снегу, ни к дыму с легким запахом смолы. То прошлое никак не связывалось с этим лесом, тишина которого напоминала торжественное молчание древнего собора, и все же оно оживало, как бы поднимаемое чьей-то властной рукой.

По мере того, как то прошлое принимало почти что физически-ощутимые формы, полковник с поразительной ясностью почувствовал огромную, только что возникшую опасность. Более подчиняясь инстинкту, чем логике, он хотел было взять в руки штуцер, но не успел: штуцер фельдфебеля был на уровне лица полковника.

«Мы с вами встретимся, господин полковник».

Полковнику Клейнмихелю показалось, что кто-то очень раздельно и очень громко произнес эти слова. Но это был обман: никто ничего не сказал. Это коварная память восстановила такую будничную по своему прямому значению фразу, и кажущийся грохот этих, уже обретших иное значение слов, заставил все вспомнить. Не было ни одной детали,

которая бы ускользнула. Даже тяжелые шторы, создававшие впечатление сумерек в том кабинете, вдруг закрыли собой блеск костра и отодвинули куда-то запах дыма. Покорно следя за памятью, полковник Клейнмихель отчетливо восстановил, что при первой встрече с фельдфебелем в его лице мелькнуло что-то знакомое, важное, но ускользнувшее, как чья-то чужая, тщательно хранимая тайна.

— Вы помните, господин полковник, дело номер 12.044?

Полковник Клейнмихель сразу ослабел, не физически, нет, а как-то совсем, совсем по-другому. Он как будто освободился от чего-то тяжелого, и это позволило ему с неожиданным, серьезным вниманием смотреть на играющие языки пламени.

Недавно и так резко возникшее сознание опасности очень легко исчезло. Это не огорчило полковника. Наоборот, он даже попытался разобраться, почему стал так равнодушен ко всему этому, только что здесь случившемуся. Но разобраться в этом он так и не смог, и понял, что его уже ничто не интересует, как не интересуют реку города, леса и луга, мимо которых она пробегает в своем непреодолимом стремлении к океану.

Так и он, мысленно и хладнокровно, пробегал мимо голов своей жизни, и слушал ровные слова человека, рассказывающего о своей любви. И тогда, когда рассказывающий замолк, полковник Клейнмихель удивленно поднял глаза и спокойно произнес:

— Чего вы медлите?

— Господин полковник, мы с вами встретились... Вы слышали мой рассказ. В каждом его слове частица моей жизни... но конец... Вот я сижу здесь, в своем родном лесу, под своим русским небом. Я таков, каков я есть, связанный с этой землей... но конец моего рассказа должен быть другим... Как и почему — я не берусь судить... Но я понял, что в определении цены жизни... я... ошибся...

Фельдфебель, прислонив штуцер к стволу дерева, встал и подошел к костру. Полковник долго наблюдал за ним и вдруг обратил внимание на то, что плечи фельдфебеля были приподняты, как у человека, в одиночестве задавшего себе вопрос и не могущего найти ответ. И ожидающего.

Сладковатый запах дыма уже почти затухающего костра будил соjalение о чем-то прошедшем, законченном и невозвратимом. Поэтому тяжелые вздохи близкого фронта, древний лес и этот напряженно-думающий о чем-то своем, только ему одному принадлежащем, казались уже ненужными, полузамытыми и тусклыми декорациями, которые ничего не могут ни изменить, ни исправить.

— Карандаш и бумагу... и пистолет...

Фельдфебель вздрогнул и с плохо скрываемым удивлением спросил:

— Зачем это вам?

Полковник Клейнмихель посмотрел прямо в глаза фельдфебелю:

— Фельдфебель! Карандаш, бумагу и пистолет...

Фельдфебель с трудом выпрямился.

— Так точно, господин полковник...

Передав полковнику все, фельдфебель медленно подошел к еле тлеющему костру и сел на пень.

— Да, я... я хочу просить вас... У меня в столе, связанные проволокой, лежат мои записки... Вы должны взять их... Вы обязаны прочитать их...

— Я?!

— Да, вы... Если вы прочтете их, вам станет многое понятным... и тогда вы обязаны будете передать, переслать или любым способом доставить эти записки по адресу... Дайте слово... Это последнее слово, которое я хочу услышать...

— Хорошо, даю слово, — с трудом ответил фельдфебель, не поворачиваясь и не поднимая головы.

Фельдфебель уже ни о чем не думал, в молчаливом оцепенении сжав пальцы рук. И только через какое-то время он опять вернулся к действительности, к этому лесу, и подумал, что время остановилось, и все вокруг замерло в тоскливом ожидании. Это было очень тяжелое ожидание.

И вдруг фельдфебель представил себе того, второго, живущего своими последними мыслями. Нервно вздрогнув, желая положить окончательный предел всему, фельдфебель сделал полуоборот, чтобы сказать: «не надо!..» Правильно ли он решил или не правильно, об этом он не рассуждал, да это для него теперь уже не имело никакого значения. Но этим коротким, еще не сказанным «не надо», звучащим как приговор прошедшему, он все предавал забвению, все прощал...

И в этот миг раздался короткий, удивительно сухой и совсем не-громкий звук выстрела. Вслед за ним легко сорвалась и мягко скользнула вниз суговая глыба, до того спокойно лежавшая на мохнатой лапе ближней ели.

Фельдфебель медленно оглянулся и, увидев труп полковника, до боли прикусил губу. Почувствовав сразу пришедшую слабость, фельдфебелю показалось, что совсем недавно, мгновение назад, произошла короткая, неизмеримой остроты игра, в которой ставкой было нечто более значительное, чем сама жизнь...

ЭПИЛОГ

Весной 1950 года по улице маленького города на Рейне шел высокий, худой человек. Глаза его были устало-задумчивы. Шел он очень медленно.

Подойдя к номеру 52 он остановился у калитки сада, в глубине которого расположилась небольшая вилла. От шума улицы вилла отгородилась деревьями.

Человек внимательно посмотрел в глубину сада. Потом оглянулся по сторонам. Справа, вдали, были горы, покрытые лесами. Леса надолго привлекли его внимание. Леса, казалось, вызывали какие-то воспоминания, взволновали его, заставили глубоко вздохнуть.

Потом человек повернулся к калитке. Прочитав «Урзула фон Венден», он протянул руку к звонку, но кнопку нажал не сразу. В этой неуверенности сквозило сомнение и колебание.

Когда калитка открылась, он пошел по узенькой дорожке, приведшей его к веранде. На ступеньках стояла седая дама. Подойдя к ней совсем близко, человек на мгновение растерялся, как будто бы застигнутый врасплох: он ее узнал. Сняв шляпу, он сказал:

— Я — тот, госпожа фон Венден, который из Англии прислал вам дневник и последнее письмо полковника Клейнмихеля...

Лицо госпожи фон Венден вздрогнуло конвульсией неожиданной и сильной боли, сделавшей ее большие, темноголубые глаза блестящими и страдающими.

Она вскинула руки к шее и медленно подняла тяжелую нитку жемчуга, теперь уже мешавшую дышать.

Человек стоял перед ней, опустив голову, как стоит вспоминающий что-то давнее, которое не может быть забыто.

Наконец, она овладела собой:

— Идемте в комнаты...

Он медленно пошел за ней. Войдя в кабинет, она предложила ему сесть. Опустившись в кресло у письменного стола, он сразу же заметил два портрета: один был очень хорошо знаком — это был портрет полковника Клейнмихеля. Второй? Этого лейтенанта он никогда и нигде не видел. Но лицо портрета что-то тревожно и настойчиво напоминало. Слегка сжав брови, он быстро взглянул на госпожу фон Венден и все разгадал...

Реген-Бавария, Франкфурт-Майн, 1953.

КОКА-КОЛА

(рассказ случайного спутника)

1.

Хм... Вы даже не отодвинулись, узнав, что рядом с вами сидит и бывший арестант и бывший сумасшедший... Странно... соединение таких признаков в одном лице вещь довольно-таки неприятная... К тому же обстановка: ночь, вагон скорого поезда Кельн-Мюнхен и в купэ... мы вдвоем...

Наоборот, вы даже полюбопытствовали. Получается, что вы хотите знать подробности... Понимаю, интересно установить, как это ваш соотечественник умудрился сделать столь блестящую карьеру и благополучно выбраться на свободу... А свобода, знаете ли, штука заманчивая... поверьте авторитетному утверждению бывшего сумасшедшего...

Ну... это я смеюсь... Над собой, над вами или вообще, я точно не знаю. Я даже не знаю, был ли я тогда сумасшедшим, и не вполне убежден, что теперь я здоров. Хотя врачи утверждают... Хотите, покажу соответствующее удостоверение? Ну, ну, ладно... не буду...

Так вот, к рассказу... Значит, я русский... Настоящий, равнинный. Выросший в лесах, в стареньком именище, среди лошадей, уток и тишины... Город для меня чужд. Лес и болото, ружье и вода, восходы и заходы солнца, небо — днем, ночью — темная тишина. Это моя жизнь... Было ли в ней что-нибудь яркое, потрясающее? Ого, было! Перелеты журавлей с их курлыканьем. Громадные стаи аистов, собирающихся в далекий путь. Предзимние дни, когда серая земля отбрасывает вверх стук каблуков... Разве этого мало?

Даже война, грохот артиллерии, окопы и блиндажи, назойливость пулеметов, и это (не улыбайтесь!) не было нарушением прошлого, это было естественно, потому что происходило в поле, в лесу, при восходе и заходе солнца. Даже журавли летели по-старому. И потому верилось, что все опять обратится в тишину...

Не сбылось... Я опускаю детали. Они мало интересны и касательства к моему рассказу не имеют.

Настоящий рассказ начинается с того дня, как я поселился в этом европейском городе. Парижанин, или, тем более, житель Нью-Йорка

может рассмеяться: эка невидалъ, да в этом городе всего лишь один миллион!

Парижанин, конечно, прав. Для себя, но не для меня. Потому, что здесь жил я.

Дом, в котором я жил... да, одной стороной он выходил на шумную улицу с потоком автомобилей и звонками трамваев. Другой стороной он подпирал узкую тихую улочку. Между прочим, комнату в этом доме я достал с большим трудом.

Окно моей комнаты смотрело день и ночь на громадный шестиэтажный дом. Для того, чтобы увидеть небо, я должен был ложиться на подоконник и задирать голову. Это очень неудобно.

Осень и зима... Потом весна, первая моя весна в комнате, выходящей на узкую улочку... и этой первой весной в мою комнату заглянуло солнце... Да, солнце... узкий солнечный луч упал на угол моего письменного стола. Это меня так обрадовало, что я невольно, с улыбкой отметил место, на которое лег луч. Потом я выглянул из окна. Я до того был уверен, что солнце сюда никогда не проникает и поэтому случившееся воспринял как шутку веселого зеркального зайчика, носящего наивное отражение солнца по теневым стенам домов.

Но шутки не было. В узкий, почти незаметный просвет между двумя домами прорывалась яркая полоса. Где-то было солнце. Оно нашло этот провал, чтобы прийти в мою сумрачную комнату напоминанием, что где-то есть голубое небо.

Осторожно, как бы боясь потревожить кого-то, я наблюдал, как передвигается луч по столу. Не дойдя до чернильницы, он начал служиться, бледнеть и вянуть.

Шли дни... Пятнадцать... нет, четырнадцать! Боже мой, я запутался. Не меньше семнадцати дней появлялось у меня солнце. Потом исчезло, и провал между двумя домами уже казался могилой, которую забыли засыпать. Лучше бы оно и не заглядывало ко мне, думал я. Я потихоньку отвык бы от него и, может быть, совсем забыл о нем и спокойно провел бы свою жизнь. Живет, ведь, крот...

Но солнце было... И будет... Сколько осталось дней до моего солнца? Меня поразило число дней: 365. Это очень большой срок, сказал я себе, и вдруг испуганно схватился за голову: я забыл тот день, число того дня, когда ко мне впервые пришло весеннее солнце... Я ходил потерянным... И у меня начались головные боли...

У вас когда-нибудь болела голова? Я строил догадки, убеждал себя, что это пустяки. Просто — мало воздуха, надо пойти погулять... В Восточном парке, около прудов, было много солнца. Но я издевался сам над собой. Это другое солнце. Совсем не похожее на то... Мне нужно мое солнце. И потому у меня болит голова. И чем дальше, тем больше. Наконец, я не выдержал, пошел к врачу и все ему рассказал. Вначале он с улыбкой прислушивался к моим словам, потом начал серьезно всматриваться в мои глаза, и говорил со мной значительно больше, чем полагалось беседовать с клиентом, платящим три марки за визит. Вручаая мне очень сложный рецепт, он сказал:

— Только для вас... Теперь мы редко прибегаем к рецептуре... у нас патентованные средства... и они всех устраивают...

— Понимаю, — ответил я. — Все-равно: еще не было человека,

чья жизнь не кончалась бы смертью... Это вполне естественно и возражений не может вызвать.

— Вы фаталист?

— Нет, — ответил я. — Я очень люблю жизнь. Я вам скажу: однажды мне пришла было пора умирать. Я не мог умереть, потому что через два или три дня должна была расцвести под моим окном розеда... Я собрал всю свою волю, я заявил, что да, я согласен, но умру только после того... только в этом случае... И знаете что? Смерть куда-то спешила, у нее были неотложные дела и спорить со мной она не хотела. Она надоедливо отмахнулась и... я не умер...

Зачем я рассказывал ему обо всем этом, не знаю. Может быть потому, что он в виде исключения, выписал мне порошки, а не ограничился таблетками, помогающими сразу от двадцати четырех болезней. Я ему рассказал о моем солнце и о семнадцати днях жизни этого солнца в моей комнате. А так как я забыл, в какой день у меня появилось солнце, когда скользнул луч по моему письменному столу, поэтому у меня и болит голова.

Врач внимательно слушал. Ему, видимо, нечего было делать, и весь его кабинет сиял солнцем. Я это уже давно приметил, я рассмотрел два окна на восток и два окна на юг. И спросил:

— А вы никогда не думаете о солнце?

Он ничего не ответил и только, когда я уже уходил, сказал:

— Жаль, что вы не можете серьезно полечиться...

Но и порошки не помогли. Спал я очень плохо. Мешали сновидения, заполненные солнцем и нестерпимо яркими пятнами.

Ложась на свой диван, я сразу же засыпал. Но через какое-то мгновение просыпался и с тревожностью бьющимся сердцем наблюдал, как умирают мои сновидения. Умирали они медленно и нехотя. А я лежал с открытыми глазами и смотрел на черную стенку, по которой расплывались и гасли розовые облака. Я все это видел, и я знал, что ничего этого нет в моей комнате, не может быть, и все же торопился все рассмотреть, не упустить и ничего не забыть...

Когда же опять начал приближаться новый апрель, я жил нервным ожиданием и острой, беспричинной тревогой. Что-то должно случиться. Я знал, что. И поэтому я никуда не уходил, ждал, когда появится этот луч на моем письменном столе.

И как все, с нетерпением поджидаемое, это случилось внезапно. Луч пришел. Торопливо, как бы боясь утратить разгадку некой тайны, я записал день и час. Я не поверил своему календарю, я вышел на улицу и долго выбирал самого солидного господина, совсем делового. Увидев такого, я подошел и спросил.

— Пятница, — охотно ответил седой старик и приподнял шляпу.

— Спасибо, — радостно воскликнул я. — А вы не можете сказать, какое сегодня число?

Тут седой господин подозрительно оглядел меня и не сказал ни слова. Когда он ушел, я заторопился к киоску и посмотрел на газеты. Их было очень много. С числом 26. На всякий случай я заглянул еще в один киоск и там увидел то же самое: 26. Сомнений быть не могло.

Я вернулся домой, проверил свои записи и, боясь, что все это может потеряться, дату и часы записал на стене. Около портрета в траурной рамке. С портрета смотрели глаза полковника-императора.

Потом я погладил солнечный луч, еще лежавший на столе. Луч торопливо вскочил на мою руку. Я долго играл с ним, пытаясь захватить его врасплох, неожиданно накрыть и немножко подержать. Но из этого ничего не получилось.

Тут мое внимание привлекли легкие пылинки. Они были маленькие. Вскакивая в солнечный луч они играли матовой сединой старого, благородного серебра. Они были крошечными и, несмотря на свою седину, очень шустрыми и жизнерадостными.

Мои головные боли прекратились. Но семнадцать дней, оказывается, совсем короткий срок. Солнце уже не приходило к моему столу. О нем я мог вспоминать, к тому же у меня был дневник. Его я вел все эти семнадцать дней. Записывал каждую мелочь.

А самое главное: у меня появилась цель жизни. Впереди была весна. Мне было известно, в какой день и час надо поджидать возвращение солнца. И оно меня не обманывало, появлялось. Уже много весен ложилось оно на край моего стола. Я уже давным-давно перестал удивляться, что каждый год происходили некоторые отклонения. Все эти отклонения я изучил. Я стал комнатным астрономом.

Где-то там, в обсерваториях, высчитывают и абсолютно точно устанавливают день, час и минуту появления загадочной кометы. Это меня не удивляло и этому я не завидовал. Мне было достаточно того, что я хранил тайну приходящего ко мне солнечного луча. Только для себя я определял, когда, в какой день недели, в какой час будет здесь солнце через год или через два. Я не ошибался: это было точное знание, укладывающееся в соответствующие координаты.

Никто ничего не знал. И только однажды я написал об этом своему другу. Другу? Странно, он был моим другом. Почему? Не знаю. Он родился, вырос, всю свою жизнь провел в Петербурге и из цветов знал только сирень и георгины, а из мотыльков — капустницу. Он сам со смехом говорил мне однажды, что он очень долго не верил в существование обыкновенных лесов, Брянских, Муромских или других. Он думал, что лес — это громадной величины парк с аллеями и скамейками для гуляющих. И потому он сомневался, что есть такие леса с рысями и медведями, такие леса, в которых можно наткнуться на пень, на котором легко сервировать обед на двенадцать персон. И когда он согласился, что такие леса могут существовать, я ему рассказал, что на крайнем Севере пятидесятилетняя сосна мало выше свечи, находящейся на его ломберном столе. Тут он совсем развеселился, хлопнул меня по плечу и просил рассказывать сказки дальше. И добавил, что после таких историй у него очень хорошее пищеварение.

И теперь, когда я ему сообщил о своих переживаниях, о солнце, о письменном столе и дневнике, он ответил мне письмом, наполненным смехом. Меня это обидело. Я рассердился. Я не знаю, как выглядит Америка, о которой он говорит так напыщенно. Вы смеетесь надо мной, писал я ему, а мне плевать на вашу цивилизацию, на самолеты и атом-

ную бомбу. Мне дороже всего этого малютка-паучок, осеню на тончайшей паутине совершающий свой полет в неизведанные, таинственные страны. Да, я знаю, что путь этот длится несколько минут и равняется пятистам саженьям, но это великое путешествие крошечного паучка для меня восторг и боль . . . Теперь этого уже ничего нет, писал я, и поэтому луч солнца, который будет у меня на письменном столе через столько-то месяцев, дней и часов, для меня дороже всех ваших . . .

И у нас завязалась оживленная переписка. Он попросил меня не сердиться. Бог с вами, так писал он, мне дороги ваши слова, хотя я и не все понимаю . . . А луч . . . он подчиняется неизбежным законам и должен прийти в положенное время. Вы сами писали, что можете установить день, час и минуту на два, на три года вперед. Начало и конец солнца в вашей комнате вы можете высчитать, писал мой друг, на два, три года вперед. Почему бы вам не попробовать установить, когда на ваш письменный стол ляжет солнечный луч через двадцать лет . . .

На следующий день я вспомнил эти слова и значение их меня поразило. Я схватил письмо, развернул его. Да, там было точно: «Попробуйте высчитать, когда в вашей комнате будет солнечный луч ну, скажем, через двадцать лет . . .»

Вы понимаете? Через двадцать лет . . . Луч солнца в окне моей комнаты через двадцать лет . . .

Вяло и нерешительно я взял все свои записи. Казалось, руки ослабели и глаза перестали узнавать знакомый почерк. Потом мне померещилось, что позади меня кто-то улыбается холодной улыбкой. Я оглянулся — никого не было. И сразу пришла торопливая боязнь, что кто-то может помешать, ворваться сюда, спутать мое важное дело, разрознить цифры.

Я должен остаться один . . . и чтобы все думали, что меня здесь нет. Этого я добился легко. Я вышел из комнаты, нарочно хлопнул дверью и не нужно долго возился с ключом: пусть соседи знают, что я ухожу.

Спускаясь по лестнице, я кашлял, я громко сказал соседу, что да, конечно, погода хорошая, надо пойти погулять. Сходить на Майн, еще куда-то, посмотреть на витрины. Во всяком случае, так сказал я соседу, вернувшись очень поздно.

От угла своей улицы я бросился назад. По лестнице поднялся тихо. В коридор вошел крадучись. Когда я осторожно оттирал свою дверь, меня охватила тонкая нервная дрожь. Боязнь, что кто-либо из соседей выглянет, делала меня неуклюжим. Но попав в комнату, я почувствовал себя страшно хитрым и ловким. Мне даже показалось, что всю свою жизнь я только и делал, что прятался и затаивался, скрывая себя, свои мысли и намерения.

Потихоньку вынув ключ, я поставил стул так, чтобы через скважину ничей любопытный глаз не мог заглянуть ко мне.

Так обезопасив себя, я сел за стол и углубился в расчеты. Я работал с увлечением, не замечая времени. Когда же все было готово, когда я уже мог определить день и час луча на моем столе через двадцать лет, я почувствовал, как пальцы моих рук стали холодеть . . . Луч будет и через двадцать лет . . . А я? Я не увижу этот луч . . .

В тщетной надежде что-то поправить, я сел к столу. Да, вот это число — прожитые мною годы. К ним я прибавлю 20. Сумма двух чисел потрясает меня до ужаса. Тогда япускаюсь на хитрость. Не надо счи-

тать год рождения, говорю я себе. Родившись в феврале, остальные десять месяцев свободно можно отбросить. Потом... остаток этого года... Но два зачеркнутых года мало что меняют...

Нет, я не бегал по комнате... Опустив плечи, уставившись глазами в одну точку, я безмолвно упрекал моего друга, обвинял его в предательстве и тоскливо спрашивал, зачем, с какой целью посоветовал он произвести эту операцию с двадцатью годами. Через двадцать лет! Мне бы и в голову не пришла такая затея. Мне достаточно думать, что может произойти в будущем году, через 365 дней. Думать легко, просто и бестревожно.

Я поднялся со стула и начал ходить от двери к подоконнику. Я был во власти мыслей и не замечал времени, не знал, что уже наступила ночь. Только когда в соседней комнате стали стучать в стену, я затих, испуганно прижал пальцы к губам. Потом посмотрел на часы. Была полночь...

Вам не надоела моя болтовня? Нет? Ну, предположим... А рассказывать мне нестерпимо хочется, ведь я сам себя слушаю и надеюсь кое-что понять.

Забегая вперед, я скажу, что на моей совести преступление. Я даже согласен, что общество правильно поступает, с торопливым удовольствием наказывая таких, как я. Обществу приятно посадить на скамью подсудимых нарушителя законов, выслушать признание и еще раз убедиться, какие все-таки мерзавцы встречаются между порядочных людей, спокойно занимающихся банковскими, торговыми и прочими честными делами. После приговора, обществу истинное удовольствие сознавать, насколько оно выше того подлеца, которого только что отправили в тюрьму. Налоги, все-таки, идут куда следует...

Но эти рассуждения между прочим. События моей жизни шли просто и естественно. До того нормально все происходило, что когда осенью у партера того громадного дома, который высился против моего окна, появились машины и люди, я на это не обратил внимания. Но потом, сам не знаю почему, меня очень заинтересовала начатая перестройка. Она шла неторопливо. Сначала разобрали часть стены. Потом, с угла, началась пристройка, и когда она поднялась до уровня третьего этажа, я подумал, что возводят не то балкон, не то веранду.

Потом балкон покрылся стеклами и, наконец, леса были убраны. Наступила временная передышка.

А через несколько дней громадная вывеска «Ресторан» опоясала балкон и даже выпнулась за угол.

Так как приближалась весна, я меньше следил за переделкой дома. Я начал волноваться ожиданием солнца и уже освободил ту часть стола, по которой будет ползать луч солнца.

На столе должен быть порядок. Это стало моей привычкой, и за несколько дней до установленного срока я часто подходил к столу и трогал то место, на которое... и вот я в последний раз вытер стол: завтра сюда придет солнце...

Бесконечное з а в т р а превратилось в сегодня. Сегодня в девять

часов пятнадцать минут, должно случиться чудо, которое я поджидал все эти 365 дней.

Часы идут, отсчитывают минуты. Минуты распадаются на секунды, секунды взрываются мгновениями... я прищуриваю глаза, как будто бы не тонкий луч, а море, океан торжествующего света рынется сюда в тот миг, когда стрелка покажет срок...

Я прижал руки к груди. Под пальцами я чувствовал толчки пульсирующей крови... Вот...

Вы никогда не обращали внимания, сколько равнодушия в минутной стрелке, во всем этом механизме, легким шорохом заполняющем тишину одиночества?

Минутная стрелка перешагнула установленный срок и... чудо не случилось. Чудо не случилось, и стрелка на это не обратила внимания, и двинулась дальше. Это было непонятно. Раз не пришло солнце, все должно было остановиться в гневном протесте. Но никто не протестовал. Я побежал к часам с лживой надеждой, что они стоят, что они уже давно стоят и показывают в ч е р а ш н е е время. Я склонился к циферблату и легкие удары каких-то молоточков со страшной силой отдавались в моих висках.

Но я не сдавался. Я еще раз попытался себя обмануть. Да, произошла ошибка в моих записях. Конечно, ошибка, воскликнул я, и невольно увидел самого себя со стороны, и уже знал, что все мое оживление было последней ложью. Зная, что я лгу, я кинулся к своим тетрадям, к своей комнатной астрономии, и начал искать. Ошибки не было. И солнца не было.

Закинув голову, я увидел кусочек ярко-голубого неба... Сегодня все небо в тучах, в густых тучах. Горы туч ползут, переплетаются. В небе строятся стены из черных, грозовых туч... Вот почему нет солнца, уверял я себя. Ты веришь в свою выдумку? Верю, все кричало во мне. Если веришь, выглянь в окно, сделай так, как ты делал раньше: ляг на подоконник и взгляни вверх... Я не хочу этой проверки, протестовала моя душа. Сегодня солнца нет, завтра будет!

И завтра не было. И вообще не было. И не надо, сказал я себе в один день, широко распахнув окно. Глаза мои были как нож хирурга: они готовы были встретить все. Даже остановившееся сердце.

И тогда я понял: перестройка дома, выросший балкон, принявший на себя вывеску, загородил ту узенькую щель, через которую весной заглядывало ко мне солнце.

Я отошел от окна. Передо мною была стена комнаты. Я для чего-то потрогал ее пальцами, потом ударили кулаком. Стена была крепкая. О такую стену можно разбить голову, подумал я. Стены возводятся не только для того, чтобы защищать человека от холода.

Да, стена может служить и другим целям. К стене можно прикрепить ресторанную вывеску и загородить ею солнце.

С трудом отбросив мысль о стене, я перешел в угол комнаты. И с удивлением остановился перед старомодным зеркалом тяжелого стекла. Стекло было заключено в дуб ручной отделки.

Зеркало немедленно ответило изумительно четким рисунком седой головы, показало нити серебра. Нити ломались и на изломах серели.

Ничего особенного не случилось, подумал я. Седые волосы заставили вернуться в прошлое. Больше ничего.

Но почему так грустно? Неужели потому, что вспомнилось другое небо и другое солнце. И земля другая. Все иное вспомнилось, и воспоминания заставили зажмуриться и глубоко вздохнуть. И подумать, что лежит какая-то черта, грань, барьер, физически ощущаемая реальность вчера и сегодня. Между вчера и сегодня не часы, не дни и месяцы, а годы, ненужно растряченные, загубленные, наполненные воротом выцветших полу забытых картин.

Тяжело сознание ненужно прожитого. Чтобы избавиться от этого я отодвинулся от зеркала, подошел к шкафу, взял наугад книгу и раскрыл ее.

«— Где такая страна, которой нет? — спрашивал мальчик у больших.

— Отстань! — отвечали ему. —

Нигде...»

Дальше я не стал читать. Закрыл книгу. Достаточно, сказал я, и подумал с сожалением, что не могу самому себе крикнуть: отстань!

А все-таки, где такая страна, которой нет? — спросил я сам себя и вздрогнул: есть такая страна, я ее хорошо помню. Я ее никогда не забывал. Ту страну не заслонили Альпы и чужой блеск Средиземного моря.

Пусть седые волосы здесь. Там — древние сосновые леса. Что еще? Да, ковыльные степи, над которыми далекое небо с остановившимися облаками. Облака рассматривают, как просыпается земля. Потому что весна...

И здесь тоже весна, подумал я. И сразу стало тяжело в этой бессолнечной комнате, с окнами, покорно рассматривающими громадный дом. Этот дом, с недавно появившейся вывеской «Ресторан» украл у меня узкую полоску яркого блеска, единственное, что у меня оставалось. Я могу тут просидеть бесконечное время и солнце не придет ко мне...

Я вышел из комнаты, спустился по лестнице. И думал о том, что у меня нет бумажек, за которые здесь продают все. Даже солнце, воздух и небо...

Я шагал медленно. Торопиться некуда. Цели тоже нет. Не все ли равно: заворачивать налево или направо, или идти вперед. А, это набережная Майна. Я оглядел воду, зажатую в строгий камень, и несущую на себе масляные пятна. По набережной чинно шагали дети. Родители наблюдали за ними, следили, чтобы они не болтали руками. Скамейки были заняты. На скамейках говорили о повышении налогов и ели аккуратные бутерброды.

Народу было очень много. И до смешного тихо. Даже чересчур ярко румяные девушки вполне прилично и по-деловому торговались с американскими солдатами. «О-кей!» звучало с приглушенной вежливостью.

Я нерешительно оглянулся и с тоской понял, что весне здесь делать нечего. А что если в Восточный парк? Решив так, я оставил набережную Майна и постепенно выбрался на главную улицу, на Цайль. Громадные витрины нагло рекламировали последнюю модель бюстгаль-

тера, обещая покупательницам, за сравнительно недорогую цену, невероятно заманчивую упругость груди. Нога легкомысленного манекена, задранная к потолку, демонстрировала найлоновый чулок.

Чем дальше я шел, тем больше терялся в сплошной толпе. Грохот трамваев, треск мотоциклов и назойливый шорох потока автомобилей заставляли торопиться.

Я посмотрел на часы. В этот момент минутная стрелка вздрогнула, сделала скачок и разрезала циферблат по вертикали: было шесть часов вечера.

Толпа вынесла меня на площадь. Тут скрещивались почти все городские трамвайные линии.

Здесь мне нечего было делать, но я почему-то остановился. Без всякой видимой причины. Прибой голосов охватил меня, движение обтекало, и я почувствовал себя маленьким островком, случайным препятствием на пути тысяч ног. Кто-то сказал: «Извините». Кто сказал, я не успел рассмотреть, потому что глаза мои уже были прикованы к небу.

Раньше сознания, что происходит там, я ощущал боль восторга. Боль родилась в груди и через короткое время сменилась радостью, готовой выплыться в всплеске. Видимо, я и на самом деле закричал, потому что почувствовал вокруг себя пустоту. Но это меня не смущило. Наоборот, как будто освобожденный, предоставленный самому себе, я торопливо шагнул вперед, боясь потерять нечто важное.

Грохот, голоса, звон, гудки, все то, чем заполнен центр миллионного города, мне уже не мешало. Я шел, закинув седую голову, и мне казалось, что в моих глазах зоркость молодости, способная видеть то, что другим не дано. И вот тут я почувствовал наплывающую на глаза мокрую пленку. Желая избавиться от тумана, я протер сначала правый, потом левый глаз.

Наткнувшись на газетный киоск, я остановился перед яркими пятнами журналов со смуглыми телами купальщиц. Я услышал сердитое замечание киоскера, но я не мог отойти: здесь было единственное место, откуда я видел в далекой синеве весеннего неба плывущий косяк журавлей. Ровным треугольником двигались журавли над городом с его грохотом, толпой, витринами и киосками... На восток... Журавли шли на восток...

И сразу стало удивительно тихо. И в тишине мягко прозвучал вопрос: «Где такая страна, которой нет?»

Такая страна есть. Дорогу туда знали журавли. О ней они переговаривались, курлыкали, вспоминали. Есть такая страна! Поднимите головы, замрите, слушайте!

Я оглянулся страшно пораженный: никто не поднял головы, никто не хотел слушать... Миллионный город равнодушно царапал асфальт, впивался глазами в витрины, следил за белой перчаткой, регулирующей движение.

И только много позже, когда улеглось мое удивление, пришла простая мысль, что им незачем поднимать голову, да и подняв ее они бы ничего не услышали.

Громадный город после шести часов вечера живет особенно напряженной торопливой жизнью. Эта жизнь глушит все звуки, что не от города. В такое время даже крик раздавленного мощным грузовиком слышен только самому раздавленному и никого не встревожит.

Грохот снизу отталкивал все звуки сверху. Толпа жила в этом грохоте, смеялась, двигалась, торговалась и с наглым равнодушием рассматривала бюстгальтеры.

А вверху плыли журавли. Только я один их видел, и только я один слышал их неслышное курлыканье. Только для меня оно было отчетливое, совсем родное, воспринимавшееся не слухом, а сердцем...

Я вспомнил страну, которой нет. Вспомнил, как однажды ночью проснулся в тревоге. Проснувшись, я некоторое время лежал с широко открытыми глазами и недоумевал. Боясь расплескать это тревожное недоумение, я тихо встал, подошел к окну, распахнул его. Вместе с весенним воздухом в комнату ворвался неповторимый, удивительно мелодичный разговор журавлей, летящих домой.

И теперь, на этой площади, где пересекались все трамвайные линии города, я вновь пережил прошлое. Я прижал руки к груди и чувствовал, как дрожали сухой, холодной дрожью мои губы.

Меня кто-то отодвинул в сторону. Подчиняясь чужой воле, я оторвался от киоска, сделал несколько шагов и опять остановился. Треугольник в небе превратился в чуть заметный пункттир. Но мне все же казалось что я продолжаю слышать курлыканье.

Потом я вздрогнул. Передо мной стоял бравый полицейский и что-то говорил. Я с удивлением посмотрел на него, и только потом заметил, что нахожусь на трамвайной линии перед остановившимся вагоном. Я отшатнулся, и, поддерживаемый полицейским, шагнул на перрон. Полицейский опять что-то сказал.

Хотя я отлично понимал язык, но в этот момент ничего не разобрал. С тревогой и недоумением глядя на полицейского, я спросил по-русски:

— Что произошло?

Полицейский сделал удивленные глаза. Через секунду или две я восстановил все бывшее недавно и начал тревожно шарить глазами по небу. Небо уже было совсем-совсем пустое. Три самолета прокладывали ненужную дорогу в мертвом пространстве.

Полицейский предупредительно осведомился, смогу ли я, вот такой рассеянный, самостоятельно добраться домой.

О, да, ответил я, спасибо. Я совсем здоров и даже помню, куда мне нужно идти. Полицейский ловко откозырнул, но я не пошел в Восточный парк.

Я пересек площадь, свернул в тихий переулок и позвонил у дома номер 37.

Войдя в небольшую комнату, я поцеловал руку старушке и сел. —

— Что с вами? — тревожно спросила она.

— Марья Васильевна, — сказал я. — Слушайте... я пережил такое...

И я стал рассказывать. О набережной Майна с ярко румяными девушкиами, о витринах с бюстгальтерами, о площади, где пересекаются трамвайные линии города, и о киоске с пестрыми журналами.

Я говорил, но мне казалось, что говорю не то и не так, как надо. Слова были грубые, не передающие боль восторга, которую я испытал. Я не мог рассказать о тревоге той далекой ночи, когда в распахнутое окно, вместе со свежим весенним воздухом, ворвалось курлыканье журавлей, идущих к северу.

Несчастный и беспомощный, жалея о бедности своего языка, я заплакал.

— Марья Васильевна, — говорил я. — Почему у меня нет слов передать вам то, что недавно я пережил. Здесь, в чужом городе, в грохоте и шуме я... Верите или не верите?.. Я слышал курлыканье журравлей, летящих над нашей землей.

Она обняла меня и дрожащими руками вытирала мои слезы. Потом откинула прядь моих седых волос, опустившуюся на правую бровь.

— Да, Марья Васильевна... я забыл вам сказать, что перед выходом из дома, я взял книгу, открыл случайную страницу и прочитал две строчки:

« — Где такая страна, которой нет? — спрашивал мальчик у больших.

— Отстань! — отвечали ему. — Нигде... »

2

— Вы не уснули? Вам еще не надоело слушать? Хотя, знаете, я это так-себе спросил... и мне было бы горько узнать, если бы вы сказали: «Надоело»...

Я многое теперь понял... И понимаю, что может быть у человека искреннее желание раскрыть свою душу перед первым встречным.

Раньше я удивлялся: как это возможно? Незнакомому, и вдруг... А вот теперь понимаю. Жил человек улиткой. Прикрывался от всего раковиной. Утверждал свое я превыше всего и был уверен, что так, а не иначе и должно быть. Ах, нет, шалишь! Наступает какой-то период, когда раковина уже тяжела и раковину ощущаешь ложью, выдумкой, не спасающей от жизни... Мне кажется, все такое происходит с большими талантами, святыми или очень простыми людьми. Так как я не гений, не святой, а всего лишь простой человек, то именно это и случилось со мной.

Не то я слышал, не то читал где-то, как один арестант жил надеждой вырваться из неволи... Знаете, зачем? Чтобы пойти в какой-то парк, подсесть на скамеечку к незнакомому человеку и рассказать ему о себе, о своих мыслях, о том, что нельзя жить ложью. И странно: он хотел доказать, что нельзя жить ложью, а сам многие годы жил ложью, хитрил, притворялся и, наконец, желание его сбылось: он выгадал минуту и сбежал. Эту минуту он создал ложью... И попал в тот, выдуманный им парк. И настолько страшной силы была его мечта, что сразу же, войдя в парк, он на самом деле нашел скамейку и довольно любезного слушателя. Три или четыре часа он болтал, раскрылся весь, до последней своей наготы раскрылся и потом... вернулся туда, откуда он сбежал... Честно говорю: не верил я такому рассказу. Это выдумка, думал я, все это к тому, чтобы пощекотать нервы читателя или слушателя, уже приученного к щекотке...

А вот теперь верю: может быть так. Уж больно, знаете ли, сложна жизнь, а душа человека такой загадочный инструмент, что и виртуоз-

психиатр может сфальшивить. Вот почему я сейчас охотно верю даже тому, что человек стремится вырваться на свободу не для разговора, а чтобы просто побежать к своей любимой речушке и без помехи, тихонько утопиться...

Но это я все, так сказать, в порядке отступления... А вообще же, вот теми журавлями, я как бы завершил первую часть моего рассказа.

Говорят: эпоха, некий исторический период. Ну, там эпоха Августа или Крестовых походов. Все это так. Пусть будет так! А в жизни обычного человека бывает своя личная эпоха. Продолжаться она может десятки лет или завершиться к какой-то один день, ограничившись самым маленьким пустяком, вроде того, что, вот, дескать, громами и молниями была наполнена жизнь, бушующими страстями и — вдруг — звонок. Отворяется дверь, почтальон; письмо. Маленькая бумагка, даже наивно и немножко пахнущая ландышем. И все. Буря, порыв и смятение, выглядевшие так эффектно, закончились. Закончилась и эпоха человека...

Так и у меня. Вернулся я от Марьи Васильевны, и вся моя трагедия показалась сентиментальными переживаниями уже сравнительно пожилого человека, взволнованного ресторанный вывеской, отгородившей солнечный луч.

Я даже улыбнулся над собой, войдя в свою комнату. К чему тревога? Окна привычно рассматривали громадный, на противоположной стороне улицы дом.

Уснул я спокойно и проснулся со светлой головой. И чем дальше, тем больше вырастало мое любопытство; я внимательно следил за переделкой дома, как будто это имело какое-то отношение к моей жизни, прошлой и будущей. Меня даже расстраивала медлительность людей, не особенно спешащих закончить ремонт и переоборудование. Стоя у окна, я упрекал их, подгонял, советовал поменьше курить и усерднее заниматься делом.

Наконец, стали пробовать освещение, знаете, модное теперь, неоночное. Ярко вспыхнула, засветилась вывеска: «Ресторан». Это было красиво: на темном фоне сумерек загорелось красное слово на высоте третьего этажа. То-то же, подумал я, как будто убедившись, что все сделано серьезно и надолго.

Тут стоит вам сказать, что к этому времени у меня состоялось знакомство с Савеловым. Как? Вы знаете эту фамилию?.. Тем лучше. Так вот — знакомство. Брошу я однажды по пустынной аллее Восточного парка. Вижу: сидит старичок, прямо-таки убогий... Худенький весь, лицо востренъкое. Сидит спокойно, потом вдруг затрясет головой и рукой махнет. Вроде спорит с кем-то. Я уже давно приметил, что есть такой сорт людей, мало нуждающихся в обществе и предпочитающих беседовать с... с собственной тенью, что ли... Это, конечно, не новое, это еще подметил старик Шекспир и уже в наше время удивительно показал Куприн.

Я наблюдал за ним. Даже пальцем погрозил старик кому-то, ехидно улыбнулся: вот ты, дескать, какой... .

Раз-другой прошел я мимо старика и вдруг слышу: старик сам себе что-то сказал... Понимаете: по-русски! Вон оно что, думаю. Выбрав удобный момент, как будто невзначай присел рядом, а старик и не заметил, то-есть заметил, но принял меня за того, с кем он уже два часа беседовал. И глядя на меня пустыми глазами, спросил:

— Ну?

На такой вопрос трудно ответить вполад. Старик пристально посмотрел на меня и с удивлением спросил:

— А как он сюда попал?

Я извинился. Дескать, очень просто. Эта часть Восточного парка всегда пустынна и я люблю приходить сюда, а нечаянно услышанное русское слово посадило меня на скамью. Вы можете продолжать беседовать, сказал я, мешать не буду...

Старик пожевал губами, но не обиделся и разговор завязался. Тут я узнал, что он живет где-то на вышке, в мансарде седьмого этажа, куда даже голуби не хотят залетать.

А потом, когда уже шли вместе в город, я пригласил его к себе. Чай, говорю, будем пить, по холостяцки.

— А на каком этаже живете? — сердито спросил старик. — Если на седьмом, не пойду, мне и свои этажи надоели...

Ну, а раз на втором, согласился. И вот тут я узнал, что это тот самый Савелов, повести, рассказы и статьи которого так любила молодежь начала нашего столетия.

— Уроки даю, — рассказывал Савелов. — У меня есть хорошие ученики из немецких журналистов... Переводами занимаюсь...

Старик пил чай, смешно обнимая стакан обеими руками, и говорил, мне кажется совсем забывая, где он. Были минуты, когда я думал, что он не видит меня.

Писать для печати? Савелов упрямо затряс головой. Нет, разве для себя, для памяти что-нибудь... Не ко времени... Ведь теперь, чтобы печататься, надо быть Буниным или... каким-то новым, с новыми идеями и словами... То старое, что я несу в себе, это не ко времени... Ну, и Бог с ним... Я с этим примирился... К тому же пришли новые, напористые, крикливые и с самомнением в знании всех истин. Они дирижируют и все определяют. По-моему плохо, по-ихнему — хорошо, и лучше быть не может. Они думают, что смотрят на мир новыми глазами и это виденное умеют рассказать... Наивные, они думают словами каких-то новаторов, и не замечают убожества этих новаторов. И не понимают, что это их новое, просто детская болезнь, которая умрет вместе с ними, оставив по себе несколько анекдотов, способных вызвать улыбку на лицах их собственных детей.

Я вот слышал, что у них есть такие прыткие, очень молодые и решительные ниспровержатели всего. Что для них Пушкин, Толстой, Бунин? Они сами создадут новое и утвердят свое косноязычие. Они в это верят. И знаете почему? Потому что верят в то, что они потенциальные гении. Я не преувеличиваю: они сами так говорят о себе и не краснеют. Даже есть кружок такой этих потенциальных гениев. Они собираются, сами себеплодируют и чувствуют себя отлично. И за шумом своихплодисментов не хотят и не могут разобраться, что такое хорошо, и что такое плохо. Да они и не пытаются разобраться в этом, твердо признав авторитет Маяковских.

Приблизиться к ним и сказать им правду нельзя. Они сразу обрушатся, заговорят и, приученные к митингу и языку газет, засыплют вас словами, цитатами, и ваше деликатное смущение перед этим насоком примут как утверждение своей правоты.

В общем... может быть это и нужно, нужна эта болезнь времени и разрушение культуры прошлого. Если это так, тогда нужны и эти потенциальные гении, сами губящие свое творение, превращающие его в навоз, необходимый для произрастания будущей культуры...

— Ну, я пошел, — почему-то сердито сказал Савелов. — Запишите мой адрес и приходите как-нибудь...

Вставая из-за стола, он пристально посмотрел в окно и спросил:

— А это что? Ресторан тут строят? Эта вывеска будет вечно заглядывать в ваше окно...

И старик ушел. Я никак не мог понять, почему он обратил внимание на вывеску и что значат его слова о вечном заглядывании в окно.

Сердитый старик, думал я, и мне было жалко, что Савелов стал таким брюзгой и нетерпимым.

Странно, но Савелов завладел моими мыслями. Я уже несколько раз забирался в Восточный парк и издали наблюдал за ним, изучая каждое его движение, каждый поворот головы и взмах рукой. И все больше и больше убеждался в его ненормальности. Меня это тревожило, я уже подыскивал хорошие и теплые слова, с какими думал обратиться к нему, уговаривая его встретиться с врачом.

Как-бы желая убедиться в чем-то, я достал книги по психиатрии и углубился в них. Это было увлекательное чтение, несколько нервное и тревожащее, как взгляд с большой высоты. Я уже установил степень болезни, видел, как она развивается и уже ясно представлял себе, какие она примет формы. Как человек, впервые столкнувшийся с возможностью заглянуть в глубину тайны, я был увлечен раскрытием душевного состояния Савелова.

Я настолько погрузился в эти книги, что ни на что не обращал внимания. И однажды, выглянув в окно, с удивлением отметил, что дом напротив уже приведен в порядок. Я даже увидел, что у подъезда повешена какая-то узкая, блестящая доска, на которой что-то написано. Это меня страшно заинтересовало, как будто бы написанное там имело какое-то отношение лично ко мне.

Я торопливо набросил пальто и вышел. Достаточно было пересечь улицу, но так я не сделал. Я пошел на угол, завернул, пересек небольшую площадь и вышел на свою улицу с другой стороны, и только тогда приблизился к стеклянному входу в ресторан. И прочитал: открытие ресторана 1 августа; в ресторане — оркестр, прекрасная музыка, танцы между столиками, громадный выбор немецких и оригинальных французских вин.

Первое августа... Осталось еще шесть дней. Эти дни я провел у своего окна, как ссыпчик, наблюдая за движением у дома напротив. Это были последние приготовления. Я видел, как привезли гигант-

ские пальмы и фикусы. Потом доставили громадный аквариум и клетки с птицами.

Междур прочим, я заметил, что за подготовкой к открытию наблюдали и нарядные, легкомысленно-красивые девушки. Они по вечерам приходили на угол, поглядывали на неоновый свет вывески и чему-то весело смеялись.

Они тоже ждут открытия, думал я, и мне становилось не по себе. Не знаю почему. Ведь понятно, убеждал я себя, раз есть ресторан, там посетители станут танцевать с этими девушками. Им больше ничего и не надо. Им даже не нужно и солнце, с горечью подумал я, и испугался: почему я опять вспомнил о нем?

Солнце! Солнце! Им не нужно солнце. Им нужен ровный неоновый свет, в котором они сами себе кажутся такими веселыми и счастливыми.

Ну, какое там солнце! — спорю я сам с собой. Просто... нет, об этом надо поговорить с Савеловым, решил я. Эта мысль была так естественно неожиданна, что я поднялся и тут же решил идти к этому сумасшедшему старику, жившему на седьмом этаже, в мансарде. К тому же я еще ни разу не был у него.

Уже собираясь выйти из комнаты, я остановился у дверей, как будто вспомнив что-то. Нет, сказал я себе, не сегодня...

Подойдя к столу, я придинул к себе календарь и начал перелистывать страницу за страницей... Первое августа... второе... Да, вот шестого августа я пойду к нему. Установив себе этот срок, я почему-то заволновался ожиданием этой встречи, как будто предчувствую важный и серьезный разговор.

А где же адрес? Боже мой! Неужели я потерял его адрес? Я вывернул все из бумажника, пошарил в карманах, обыскал ящики письменного стола. Адреса не было.

Но шестое еще вон когда, пытался я убедить себя. За это время я найду его. Волноваться нечего. Но я волновался, как будто шестое августа уже наступило... Я еще раз все проверил, я даже оглядел стены и потолок. И ничего не нашел.

Боясь опоздать, я бросился в Восточный парк. Не отглядываясь, инстинктивно выбирая самый короткий путь, я чуть ли не бежал. И только когда маленькая, благородная такса, спокойно лежавшая на бульваре, вскочила и залаяла на меня, я понял, что веду себя не по-европейски.

Меня всегда удивляло, что здесь все эти овчарки, таксы и самые обыкновенные дворняшки, все они, имеющие ошейники с законным номером регистрации, совершенно не обращают внимания на прохожих. Я понимаю: это результат воспитания. Но мне это казалось последней степенью вырождения: остается только одно внешнее сходство, бегающее на четырех лапах и забывшее о том удивительно прекрасном, что называется настоящей жизнью.

И вот эта разжиревшая, залаявшая на меня такса вернула меня к действительности и показала, что я своим торопливым бегом нарушаю приличие и порядок, к которому она привыкла... Да, тут Европа, тут не принято кричать от тоски и плакать от восторга. На все случаи есть установленные, общепризнанные выражения, а для облегчения — их можно покупать в виде специальных, прекрасно отпечат-

танных карточек, продающихся в писчебумажных магазинах. Смерть, бракосочетание, рождение, горячее соболезнование по любому поводу — все предусмотрено этими карточками.

Такса была возмущена. В ее глазах я вел себя скверно, совсем не так, как вот остальные, идущие по бульвару и не тревожащие ее покой. Я невольно замедлил шаг и посмотрел на таксу. Она с удовлетворением махнула хвостом, ласково мигнула глупыми ресницами под бородавками плоского лба, как будто одобрительно сказав: давно бы так!

Я вошел в Восточный парк. В этой пустынной части, на знакомой аллее, старика не было. Хоть я и знал, что на других аллеях он не бывает, я все же обошел весь парк, побывал у озер и, глядя на лениво плавающих лебедей, вспомнил северное небо.

Потом я вернулся к той скамейке, на которой он всегда сидел. Подожду, решил я, он должен прийти.

Чтобы скоротать время, я сел так, как обычно сидел старики, откинув левую руку на спинку скамейки. Теперь-то я уже знаю, что нельзя безнаказанно, всей силой своей мысли стремиться к перевоплощению. Но тогда я это сделал. И у меня сразу же нашелся назримый собеседник. С ним интересно было говорить, спорить, вспоминать, рассматривать яркие картины, в которых, представьте, ничего не было от сегодня. Все было от прошлого, из прошлого, вырисованное на фоне страны, которой уже нет.

Я не буду утруждать ваше внимание деталями, но скажу, что когда я открыл глаза и увидел уже наступившие сумерки, мне стало холодно. Поеживаясь, я с удивлением оглянулся на все чужое и с трудом вспомнил, где я, что я и зачем я здесь.

А старики не пришел, сказал я громко. Уже поздно. И простая мысль, что старики вообще никогда не придет и я больше не увижу его, взволновала меня. За это время он уже мог умереть.

С чувством тяжелой утраты побрел я домой, сожалея, что раньше, имея так много свободного времени, не посетил Савелова. А теперь я даже не знаю его адреса.

Когда я вернулся к себе, было уже совсем темно. Войдя в комнату, я включил свет и страшная усталость охватила меня. Я почувствовал себя легким, невесомым, способным просто закинуть руки за голову и прилечь на воздух.

Удивляясь этому, никогда ранее не испытываемому состоянию, я присел на диван, откинулся к его спинке и попытался разобраться, что такое происходит со мной. Несколько позже я обратил внимание, что мой взгляд устремлен в одну точку. От нее я не мог оторваться и вдруг понял, что фокус моего зрения сосредоточен на белом клочке бумаги, лежащем на подзеркальнике. Очень скоро простое белое пятно обрело вполне конкретные формы, заполненные определенным содержанием, смысл которого пока что ускользал. Стараясь разобраться, что происходит, я поднялся и в этот же самый момент уже знал, что стоит мне подойти к подзеркальнику, протянуть руку — и у меня будет тот адрес, который я так тщетно искал.

Как это произошло, каким образом могла лежать незамеченной эта бумажка, было непонятно. Я отлично помнил, что несколько раз подходил к зеркалу и тут ничего не было.

Я спрятал адрес. В моем бумажнике есть такой укромный уголок, и туда я положил клочок бумажки. Потом лег спать. Уснув сразу, я всю ночь был во власти одного и того же сновидения.

Тут я должен заметить, что хотя в этом городе я живу давно, но знаю его плохо и мне совсем не известен тот район, где находится мансарда Савелова. А во сне я шел по улицам, рассматривал дома, запоминал их и, наконец, приблизился к переулку и подошел к семиэтажному дому. Номер сорок третий.

Дом был старый. Лифта здесь не было и я медленно поднимался, зная, что надо добраться до мансарды.

Когда дальше идти уже не было куда, я увидел небольшую темно-коричневую дверь и на ней пятно визитной карточки: Савелов.

Я вошел в комнату. Я хорошо ее рассмотрел, запомнил, где стоит диванчик, два стула и небольшой стол. Над столом, справа и слева, были хорошие акварельные рисунки: Валдай. Валдай осенью. На столе стоял простой пузырек с чернилами. Около него лежала старая деревянная ручка, конец которой был измят. Я подумал, что Савелов, в задумчивости, имеет привычку покусывать конец ручки.

Комната была пуста. Поэтому я вышел, простоял немного в коридоре, для чего-то внимательно изучал визитную карточку. Потом спустился вниз, покинул дом номер сорок три и направился по уже ранее пройденным улицам, ставшим теперь знакомыми и близкими. А когда я вернулся к себе в комнату... тут я открыл глаза и увидел, что было уже утро, и что все мое путешествие по улицам незнакомого района, и семиэтажный дом, и мансардная комната с акварельными рисунками — все это только сон. Я знал, что это был сон и не верил самому себе. Как же так? Совсем недавно, минуту или две назад, все казалось реальным, ярким и таким отчетливым... Я взглянул на свое окно, и последние картины сна стали быстро блекнуть и расплыватьсь, тускнеть, стираться, мельчать. Боясь, что все это пропадет, я вскочил, бросился к столу и стал записывать сон, те обрывки сновидения, которые еще тлели во мне... Для чего я это делал, я и сам не знал, но что я должен это записать, в этом я был уверен.

Позже, доверив бумаге то, что смогла сохранить мне моя уже вернувшаяся в дневное существование память, я понял, что все это связано с моим предстоящим посещением, намеченным на шестое августа. Я пойду к Савелову по уже знакомым улицам, пройденным мною во сне, найду переулок, легко узнаю семиэтажный дом и поднимусь в мансардную комнату старика.

Потом, в последующие дни, я все время возвращался к своему сну, настойчиво восстанавливая в памяти те улицы, по которым проходил во сне, и шептал: 43. Это был номер дома с мансардой.

Как-то я сам себя спросил с улыбкой, зачем я так тревожусь: ведь все записано и лежит в моем бумажнике. Медленно выдвинув ящик письменного стола, я взял бумажник, развернул его и... никаких записок не нашел...

Мне стало жарко. Трясущимися пальцами я перебирал содержимое

бумажника. Я даже посмотрел на пол, не уронил ли чего... Адреса, никаких записей не было...

Понадобилось громадное напряжение, чтобы успокоить себя, уверить, что адрес не нужен: я путь к Савелову знаю. Не даром я все время жил сном и бесконечно повторял: дом номер сорок три...

Да... сорок три... я это отлично помню. Тут я совершенно машинально опять взял свой бумажник, повертел его в руках. Потом беспечно открыл его и, вдруг, обнаружил все свои записи. Сон, адрес, вот и четко написанное: дом № 43.

Меня это потрясло. Потом я стал убеждать себя, что ничего странного тут нет. Наоборот: все просто и понятно. И как бы торопясь убедить себя в этом, я опять схватил бумажник и вдруг вспомнил: сегодня первое августа. Сегодня открытие ресторана, прошептал я, как будто это имело какое-то отношение ко мне. Да, сегодня первое августа... подойдя к окну, я увидел, как входят люди в вестибюль. Разукрашенный позументами швейцар встречает их улыбкой казенного гостеприимства. Закрыв дверь, швейцар сразу же стирал улыбку, застывал у дверей и, видимо, думал уже о чем-то своем, не имеющем отношения ни к ресторану, ни к публике, ни ко мне, наблюдавшему за всем этим из окна своей маленькой комнаты.

Вот я подумал о себе и заволновался приближением вечера. В чем дело, спросил я себя, и понял, что тревога моя идет к тому блеску вывески, которым скоро будет охвачена вся ширина третьего этажа. Громадные буквы «Ресторан» зажгутся розовым. Они будут видны издалека... Ну и пусть! — отмахиваюсь я, — мне нет дела ко всему этому.

А когда приходит вечер, я уже не смотрю на вывеску. Я поднимаю глаза выше, туда, вверх. И там, над всем домом, как будто висящее, упирающееся в небо, дрожит и переливается нечто новое, еще не виданное мною. Это новое не горит ровно, оно переливается струйкой по угадываемым трубкам. Сначала в них скользит белый свет, поднимается, неожиданно ломается и выписывает два громадных «К»... потом рядом с ними замигал зеленый и вырисовал два «О»... затем полилось ручьем золото и на черном фоне неба утвердились «К» и «Л», а вслед за этим, снизу вверх, потекла густая кровь и закричала двумя протяжными, стонущими «А»... отметившими рождение над городом, над домом, над всем миром слов «Кока-Кола»...

Белые, зеленые, золотые и кровавые буквы дрожали, казалось, в ознобе и напряжении... Прошло какое-то мгновение — чернота ночи поглотила их, и то место в небе, которое только что пылало, для простого человеческого глаза стало нестерпимо пустым и до боли черным.

Прошел какой-то срок, очень короткий, и опять, по-очереди, начали вытекать белые, зеленые, золотые и кровавые струйки для того, чтобы повиснуть «Кока-Колой», задрожать неслышным смехом гнусного сочетания слов, и потухнуть...

Я вспомнил Савелова... Да, это он сказал, что вывеска будет заглядывать ко мне в окно. Ну и что же? А то, ответил я сам себе, что эти буквы, повторяющиеся с раз навсегда установленной точностью,

будут вспыхивать целую ночь, всегда, и я не смогу уйти от них. Я буду видеть, наблюдать и думать, что это все, что осталось мне взамен солнца.

Я сидел у окна очень долго. Без света. Мне было довольно той игры в черноте ночи, того разноцветного хохота над крышами, который звучал в Кока-Коле. Этот смех был заразителен. Невольно подчинившись ему, я стал подражать и, наконец, захлебнулся, захрипел широко открытым ртом: ко... ка... ко... ла...

Фу, какая гадость, сказал я себе, с трудом отдушавшись. Потом торопливо поднялся, задернул занавеску и зажег свет. Моя маленькая комната улыбнулась знакомыми стенами и пригласила к корешкам любимых книг. Я подошел к ним, взял первую, раскрыл так-себе, наугад. Я это делал, когда мне тяжело.

Глаза скользнули. Вслед за этим сознание раскрыло тайну строк: «Ибо всему свой срок — миновала и для нас сказка: отказались от нас древние заступники, разбежались рысущие звери, разлетелись веющие птицы, свернулись самобранные скатерти, поруганы молитвы и заклятья, иссохла Мать-Сыра-Земля, иссякли животворные ключи и настал конец...»

Как странно... Видимо, что-то особенное было в душах тех, кто создавал эти книги, кто в простом чередовании простых слов умел дать ответ тоскующему человеку... Да, это именно так. На самом себе я это проверил. Я уже не один раз подходил вот так к этим книгам с немым вопросом...

Тут мне показалось, что где-то в сторонке стоял Савелов и сказал: скорей бери свое, торопись, потому что там уже толпой идут всех перекрикивающие, истину свою утверждающие кулаком. У них есть свои ими же написанные книги. Как дикари, впервые поймавшие огонь, они обжигаются и поклоняются ему. Так и эти — в безумной радости восхищенные попавшей к ним тайне иероглифов, они неумело выводят каракули, бросают слова, лишенные сокровенного, отбегают в сторону, любуются своим искусством и это косноязычие в одном месте пистолетом, в другом диким воплем утверждают как нечто новое.

Хорошо, подумал я, но может быть это только болезнь? Болезнь уйдет... и все это отвалится шелухой, как засохшие струпья... А если не уйдет? — кричал невидимый Савелов. — Если утвердится все это и здесь и там? Что тогда?

Как жаль, что здесь нет Савелова. Я взял бы и прочитал ему эту последнюю строчку: «... иссякли животворные ключи — и наступил конец...»

Спорить бы не пришлось: Кока-Кола своей разноцветной пошлостью загородила красоту того мира, над которым когда-то стояло солнце. И как будто бы призывая кого-то в свидетели, я поднял занавеску и пальцем показал на судорожный хохот Кока-Колы...

А может быть прав Савелов? Нет, не может быть, чтобы мир принял веру тех, кто свою правду утверждает кулаком! А если... Что же тогда остается? Что же тогда возьмут дети? Кока-Колу, новые заповеди, установленные кретинами и нужные только кретинам.

От этого ужаса надо уйти, зарыть голову в подушку, задавить в себе искру кошмара. И я на самом деле прилег, наивно убеждая себя, что будущий рассвет все поправит и все изменит...

Но я забыл об одном ... Я забыл, что рассвет приходит не вдруг, но что рассвет рождается уходящей ночью ...

И вот я проснулся. Ночь ... На легкой занавеске моего окна ползают странные отсветы, перемигиваясь белым, зеленым, желтым и кровавым ... Я знаю: это там Кока-Кола ... Осторожно, как бы боясь кого-то вспугнуть, я поднимаюсь, подхожу к подоконнику, чуть-чуть приподнимаю занавеску и вижу дрожащие слова, выписанные на черном полотне ночи ... Слова тухнут ... вспыхивают ... тухнут ... и мне уже кажется, что никогда я не освобожусь от власти этих чужих, диких слов, ворвавшихся в мою жизнь.

Ерунда! Так кричит все мое протестующее существо. Нельзя думать об одном и том же! Ну, хорошо, ну, был кусочек солнца и для моей комнаты. Так что же? Я боюсь оглянуться и увидеть того, кто стоит рядом, ухмыляется, издевается и шепчет: «Вот что тебе дали вместо солнца ...»

Нужно оторваться от всего этого. И я это сделаю. Я ложусь и плотно закрываю глаза и вдруг с тоской приходит мысль, что не спрятаться мне, не уйти.

Из ресторана доносилась музыка. Она звучала не особенно громко, но навязчиво и страшно гнусно. Вслушиваясь в мелодию, я почему-то стал подбирать к ней слова. Вначале они были тягучие, липкие и какие-то бесформенные. И только когда я устал от поисков, вдруг, помимо моей воли, весь мотив просто уложился в два слова: Кока-Кола. Достаточно было покачать головой и в такт ресторанному мотиву торопливо бежали эти два слова, написанные разноцветьем вон там, над крышей большого дома ...

Когда я открыл глаза, все было тихо и серость утра лежала на занавеске.

Пошатываясь, я встал и упрекнул себя, даже смеялся над собой, над своими дамскими нервами. Так смеясь, я уже верил, что все пройдет, превратится в привычку, не может не превратиться, потому что ... Что — потому что? Я и сам не знал, потому что все это как-то странно стало переплетаться с прошлым, с полузабытыми картинами, над которыми так хохотала Кока-Кола.

А дни шли. Наконец, я почувствовал, что мне надо спасаться, уйти хотя бы на время из дома, освободиться от вечного миганья огней и звуков музыки, повторяющих одно и то же, одну и ту же Кока-Колу ...

Я взял пальто и решил уйти за город, найти тихое место у реки и пересидеть там всего лишь одну ночь. Я нашел такое место, сидел и смотрел на город, над которым небо казалось наполненным заревом далекого степного пожара. Эта картина не была тревожной.

Может быть впоследствии многоного и не случилось бы ... если бы уже поздно, видимо после полуночи, ко мне не подошли двое полицейских. Они очень деликатно разбудили меня. Разговор был скучным. Они интересовались, что я тут делаю, имею ли я квартиру и где живу. Они ничего не требовали, но я сам показал им паспорт, уверил, что у меня есть крыша над головой. А сюда ... да, сюда я пришел, чтобы отдохнуть от города, от музыки, укладываящейся в напев двух слов ...

Полицейские смеялись моему рассказу. Он им настолько понравился, что они присели рядом со мной и закурили.

Но они не оставили меня у реки. Они потребовали, чтобы я шел домой. Доводы у них были очень убедительные. Они сказали, что всякий, имеющий квартиру, обязан ночевать в ней, а не сидеть всю ночь около прибрежных кустов. Это запрещено, так они заявили, и были настолько любезны, что провожали меня почти до самого города.

Я вернулся в комнату. Хотя была глубокая ночь, я не мог удержаться и, подойдя к окну, стал пристально изучать миганье огней. Однажды, неожиданно повернувшись влево, заметил в старом зеркале отражение своего гримасничающего лица. Это было очень неприятно. Я быстро потушил свет и с трудом дождался утра.

В следующие дни я сильно волновался и не мог найти себе места. Именно в эти дни я нечаянно сильно ударился и у меня долго болела голова. Вот тогда я решил пойти к Савелову. Мне казалось, что это меня развлечет и успокоит.

Я повторил свой сон наяву. Я шел по улицам моего сновидения, узнавал дома и, наконец, остановился перед номером сорок третьим.

Да, это он. Хотя в этом я и не сомневался, я все же его хорошенъко осмотрел и только после этого вошел и начал подниматься по лестнице. Вот и мансарда. Вот и знакомая визитная карточка.

Савелов сидел у стола. Увидев меня, он радостно протянул руки, потом, пристально всмотревшись, спросил:

— Что с вами? Вы — больны?

Откуда он это взял? Конечно, нет, уверял я. Но только я очень плохо сплю, говорю я. Мне мешает Кока-Кола, я не могу уйти от нее.

Савелов, по-стариковски потирая свои руки, все расспрашивал и спрашивал. Я ему подробно отвечал, говорил обо всех мелочах и малейших пустяках. Иногда он просил повторить то или другое, так он интересовался моей жизнью. А потом, прищурив свои близорукие глаза, начал пристально рассматривать мое лицо и вдруг спросил:

— Скажите, а почему у вас вот здесь синяк?

Мне не хотелось говорить об этом, мне самому не нравилась эта история с синяком. Я попытался рассказывать о чем-то другом, но Савелов, усадив меня на диван, попросил:

— Нет... давайте об этом, — и он прикоснулся пальцем к моему виску.

Об этом? И я рассказал, что позавчера у меня появилось странное желание уйти от собственных мыслей. Я отлично понимал, что это невозможно. И все же я быстро спустился по своей лестнице. Я торопливо шагал по улицам и старался убедить себя, что все, мешающее жить, остается позади.

Так я двигался по улицам города. Спешил выйти на простор, чтобы перестать чувствовать каменную тяжесть домов.

Я почему-то со страхом вспомнил вечное бледное зарево, висящее над ночным городом и почти побежал. Это была смешная, жалкая попытка спрятаться от самого себя.

Я хотел уйти от города. Да, говорил я себе, и я уйду, и вот она — передо мною — совершенно голая земля, держащая на себе металлические конструкции, земля, над которою в бесконечность уходят провода...

Зачем же торопиться? Зачем вообще идти? Но я шел. Улица. Площадь. Еще улица. И вот центр города. Здесь особенно тяжел поток автомобилей и плотна река смеющихся людей. Они тоже спешат. Но им нет дела, что тут, среди них, я, томительно ждущий, чтобы кто-нибудь, пусть совсем чужой, подошел, остановил и спросил: «Зачем идешь?» Как бы я обрадовался этому. Но никто не подошел ко мне.

Ну и пусты, сказал я себе. И вдруг остановился. Без всякой видимой причины, просто потому, что громадная витрина поразила меня блеском.

Лучи солнца, казалось, зажгли стекла витрины, пылали, слепили глаза. В такое окно-витрину, подумал я, входит очень много солнца. А в мое маленькое окно уже никогда не заглянет солнечный луч...

Богатство света, вливающегося в витрину, удивляло меня. Кто такой счастливец? Я поднял голову, прочитал: оптик Весслер. Странно звучащая фамилия была немой. Она мне ничего не сказала. Но я все-таки обрадовался. Я совершенно не завидовал господину Весслеру, у которого так много солнца. Пусть!

Я даже улыбнулся чужому счастью. Что такое? Я, еще улыбаясь, отшатнулся: прямо на меня смотрела большая, красиво исполненная надпись: «Смейтесь над ним!» Над подписью протянутая рука и указующий перст застыли в напряжении: «Смейтесь над ним!»

Я прочитал еще раз. Недавнее радостное настроение затухало, обернувшись легким озном, начинавшимся где-то около коленок. Стارаясь справиться с собой, я скользнул глазами по руке, потом по пальцу и вдруг в левом углу витрины обнаружил то, над чем приглашал смеяться господин Весслер.

Старик... вырезанный из фанеры, раскрашенный хорошим художником, старик был как живой, совсем похожий на многих стариков. Сколько ему лет? Много. Если бы это был настоящий старик, можно было бы сказать, что у него пообтрепались рукава старого пиджака, и старуха, произведя починку, укоротила их. На коленке брюк была откровенная штопка, грубыми нитками... а протянутая рука с пальцем, украшенным нарисованным кольцом, упиралась в старика, приглашала: «Смейтесь над ним!»

Тут я заметил стрелку, тянущуюся от пальца с кольцом. Стрелка к концу раздваивалась: получились две тонкие стрелки. Одна — к очкам старика. Другая — обвивает его жалкую фигуру, выскакивает из-за спины и подчеркивает новую надпись: «Смейтесь над ним! Этот несчастный нищий не может купить себе очки в хорошей оправе!»

Ага! На переносице старика дешевые, в металлической оправе, очки. Держатся они при помощи простой проволочки.

«Смейтесь над ним!»

И дальше:

«Разве человек в таком костюме может иметь хорошие очки? Конечно, нет! Куда ему, этому нищему...»

А еще ниже, через всю витрину:

«Господин, носящий приличный костюм, обязан иметь хорошие очки. Хотите выглядеть богатым, умным, хотите произвести выгодное впечатление в деловом мире — покупайте очки только в нашем магазине у специалиста-оптика господина Весслера!»

Я все это прочитал внимательно, несколько раз, как будто в этих словах была какая-то загадка. Наконец, я пришел к убеждению, что мне близко, до боли знакомо лицо этого старика, над которым приглашают смеяться.

Этот старик, ярко освещенный заходящим солнцем, стоял спокойно, опустив нарисованные глаза и рассматривая сквозь очки в грубой металлической оправе темнозеленый плюш витрины. Солидный плюш витрины гарантировал серьезные намерения господина Бесслера.

На плюш посмотрел и я. Господин Бесслер предлагал очки. В самом богатом ассортименте. Вот массивные, в золоте, очки — «Сенатор». Дальше — роговые, разных оттенков — «Адвокат», «Коммерсант», «Журналист»... Были и «Визитные», в элегантно легкомысленной оправе... Очков было много, в самой разной цене...

Я, видимо, черезсчур долго задержался у витрины и уже кой-кому мешал. Я не заметил, что здесь собирались люди и внимательно изучали качество и фасоны очков: витрина оптика господина Бесслера была на бойком месте.

Потом кто-то, очень деликатно, отодвинул меня в сторону. Бессознательно подчинившись толчку, я оторвался от витрины и пошел...

Уже вечерело.

Я шел очень быстро. Почти бежал. И вдруг остановился с тяжело бьющимся сердцем: мне показалось, что где-то сзади кричит город своей миллионной равнодушной глоткой:

«Смейтесь над ним!»

Я бросился бежать. И где-то, около набережной, в узком переулке, я споткнулся и упал...

Я говорил и меня все время удивляло, почему Савелов с таким вниманием вслушивается в рассказ об этом пустяке.

— Да, — произнес Савелов, когда я остановился. — Да... Вы очень устали. Отдохните у меня. Сейчас будем пить чай. Из стаканов. Знаете, такой тонкого стекла стакан. Это очень успокаивает. Что? Ну, если хотите, можете смеяться над старым стариком, выжившим из ума...

Я и не думал смеяться. Я даже с удивлением поднял глаза и сказал:

— Что вы! Господи помилуй...

Савелов начал готовить чай. Он возился со своей электрической плиткой, кряхтел и сопел. Потом он на самом деле поставил на стол два тончайших стакана на белых, с серебряной каемкой блюдцах.

— Смотрите, — сказал Савелов и взял одно блюдце. — Читайте...

Я перевернул блюдце: «Кузнецов и Сыновья».

Савелов тихонько смеялся и мял пальцы своих рук.

— Вот откуда они, — таинственно шептал он. — Тонкие стаканы прямо-таки успокаивают меня. Я смотрю на них, и у меня, старого моржа, возникают молодые и веселые мысли. Такие мысли, что могут перескакивать через границы, уноситься туда, где когда-то пили чай из таких стаканов... где покупали кузнецковскую с сыновьями посуду... И вы выпьете чайку, под своими пальцами почувствуете их хрупкость и вам станет легче...

Старик болтал безумолку. Под уютный напев его слов я и на самом деле успокоился. Чай показался каким-то особенно вкусным. Даже дешевая банка рыбных консервов выглядела не так, как она выглядела на моем собственном столе.

Я заночевал у Савелова. Это он уговорил меня, заявив, что этим начнется курс моего лечения.

— Так нельзя, — сказал стариk. — Ваши кошмары до добра не доведут...

Сон был удивительно крепкий и спокойный. Только один раз я проснулся, как бы нарочно для того, чтобы подумать, как я хорошо сейчас усну. Я чувствовал такую уверенность в этом, что спокойно поднялся со своей импровизированной постели, состоящей из одеял, положенных на полу, подошел к окну и раздвинул занавески. Было ли уже так поздно или этому району города свойственен покой, но меня поразила тишина. Никаких звуков. Молчание. Далекие огоньки фонарей казались скромными домашними свечками.

Я вернулся к своим одеялам и быстро уснул. Утром был свеж и бодр.

— Ну, вот, видите, — смеялся Савелов. — Начало курса лечения показало, что диагноз поставлен правильно...

Здесь, на седьмом этаже, я провел несколько дней. Наконец, мне стало неудобно стеснять Савелова, мешать ему заниматься своими переводами. Как ни удерживал он меня, я вернулся в свою комнату. Мне даже казалось, что теперь, отдохнув, успокоившись, я буду равнодушен и к мерцанию Кока-Колы и к идущим ко мне звукам ресторанный музыки.

Но я ошибся. Как только наступил вечер, меня нестерпимо потянуло к занавеске, сквозь которую чуть заметно отсвечивали огни рекламы... Нет, я сдался не сразу. Я боролся с собой, уговаривал себя, я даже издевался над своей слабостью и безволием.

И все-таки я выглянул. Странно, но вначале эти белые, зеленые, золотые и красные струйки, льющиеся по трубкам и в небе вырисовывающие ненужное, дико звучащее слово как будто даже обрадовало меня. Появилось ощущение, что что-то недавно потерянное вновь найдено.

Я долго стоял у окна и смотрел. Потом почувствовал легкий озноб. Озноб вызвал головокружение, какое-то мягкое и медленное, в такт доносящейся музыке.

И вдруг мне вспомнилось прошлое. Вспомнилось Полесье, край туманов и темных рассказов о наваждениях, о глазах, несущих порчу тому, на кого они посмотрели. Вспомнился молодой помещик, красавец, счастливый большой любовью к своей жене. Вдруг и неожиданно она умерла осенним утром, когда плотные туманы подошли к окнам... Молодой красавец не плакал. Нет. Он тихо вышел и направился к кустам, за которые цеплялся седой туман. Туман то стоял на месте, то двигался, обволакивая ветки, разрываясь и вновь собираясь среди кустов.

Много дней прошло, и уже все соседи знали, что в тумане он видит ее, медленно уходящую в сторону. За ней, по воздуху, волочится шлейф серого платья... Он бросался к ней с протянутыми руками... и в тот момент, когда он уже мог коснуться ее, туман расступался и на бледных листьях кустарников дрожали слезы ушедшей.

Он искал ее очень долго. Ночами он стоял у окна, через стекла всматриваясь в густой туман. Каждую минуту он был готов броситься и встретить ее, пришедшую из темноты.

Потом его отвезли в больницу... Туманы продолжали бродить, но уже некому было ожидать чуда...

Вот то далекое, это было понятным и родным. А тут... и мне почудилось наваждение города, наваждение и призраки, рожденные не простором земли, необъятной ширью, а теснотой улиц, вечно залипых движением, грохотом, торговлей и этими рекламными огнями и музыкой ресторанов.

Я могу дойти до... до чего, я себе не ответил. И тут же сам себя успокоил: не может быть! Там — была любовь, у меня, здесь, ничего этого нет... Это не одно и то же, говорил я себе. К тому же, легко устроить тяжелую, плотную штору, такую, что потушит маленькие рекламные огни, оттолкнет звуки. Тогда меня не будут тревожить эти скользящие по трубкам разноцветные кока-коловские слова.

Я так и сделал. Штора была плотной. Я истратил на нее так много денег, что даже упрекнул себя в расточительности.

Встретившись с Савеловым, я говорил обо всем этом. Он очень серьезно сказал, что и штора не поможет. Меня поразили эти слова и, в особенности, «уже не поможет»... Странно, как будто бы он, Савелов, знал что-то такое, чего я не мог знать...

Белый. Зеленый. Золотой. Красный... Эти играющие на черном фоне краски на самом деле могут свести с ума. Знаете, что самое страшное? Назойливое желание спастись от этого.

Да, Савелов был прав. Теперь уже ничто не могло помочь. Штора? «Она уже не поможет», сказал этот старик. Он знал, этот умный Савелов, что говорил. Я это понял значительно позднее, тогда, когда я, подкрадываясь к шторе, раздвигал ее и часами смотрел на смеющуюся Кока-Колу.

А что, если потушить ее навсегда? Эта мысль пришла как-то неизвестно и после этого я уже не мог отделаться от нее. Я придумывал различные способы, я готовился к мести. Эту вспыхивающую и погасающую и вновь вспыхивающую рекламу я ненавидел как нечто одуванченное, сознательно издевающееся надо мной.

Да, я был уверен, что Кока-Кола издевается надо мною, именно надо мною. Издевается и ждет того часа, когда я сдамся, признаю ее власть над собой и стану покорно биться головой об стену. Тут я с неизвестным равнодушием как-то со стороны взглянул и увидел самого себя, стоящего у стены. Лицо мое было искалено гримасами, губы стали сухими и горячими, а голову разрывала нестерпимая боль от ударов. Потом равнодушие сменилось тихой жалостью к прошлому, к растряченным попусту годам, к солнечному лучу, который уже никогда не заглянет в мою комнату.

Когда-то, давно, когда мир был еще свободен от этого слова, теперь переливающегося разноцветными неоновыми струйками, мою любимую гончую погрызла другая собака. В этом ничего не было удивительного. Все было просто: оставшаяся от тысячелетий капля вол-

чьей крови в крови собак часто оживает, вспыхивает звериной злобой и тогда разжимаются клыки одомашненных зверей.

Но тут было другое: бешеная собака бросилась на моего Трубача... успела вцепиться в него клыками, потому что посланная мною пуля немного опоздала...

Потом я наблюдал, как менялось выражение глаз Трубача. Мне казалось, что я отчетливо вижу, как попавшая в него пылинка яда разрастается, постепенно отравляет здоровую кровь. Наконец, наступил момент, когда Трубач начал кругами ходить в своем сумасшедшем мире, окруженном стенами маленького сарая. Он ходил и ходил, без сна и отдыха, роняя на землю лохмотья грязнокоричневой пены, закипающей среди белых его клыков.

Это было нестерпимо... Как бы еще не доверяя себе, я заглянул в маленькое оконце сарая, позвал собаку по имени. Трубач остановился. Красные глаза его быстро наливались черной кровью и когда они уже не могли больше вместить ее, он беззвучно оторвался от земли и скакнул в мою сторону. Я был в безопасности, отделенный стеной и решеткой. Но волна бешенства, окружающая собаку, отбросила меня с моим трусливо ударившим сердцем.

Потом я пришел с винчестером... Я смотрел на Трубача, и все восемь лет, которые он прожил у меня, картинами своими заполнили сарайчик, на полу которого теперь подсыхала грязнокоричневая пена... Ничего, ни одна деталь не была потеряна... и когда я прицелился в шрам на черепе Трубача, я увидел ту рысь, которая должна была броситься на человека. Трубач этого не мог позволить: он сам встретил рысь, принял на себя удар гигантских кошачьих когтей, и все это только для того, чтобы человек успел унять свое ёкнувшее сердце. Вот откуда этот шрам... теперь — в этот шрам должна войти пуля...

И когда дым спрятал все — мгновенье стало вечностью, и в вечность ушел Трубач...

Это воспоминание как-то связывалось с моим сегодня. Родился страх, от которого надо уйти, освободиться, иметь возможность вырваться из стен моего маленького сарайчика.

Я могу! — вдруг закричало все во мне. Этот крик обнадежил меня, как будто показал, что не все пути уже исхожены. Как-то до смешного все стало легким и простым. Обрадовавшись этому, я выглянул в окно. Чуть влево, против нашего дома, в глубине чужого двора, возвышаясь над развалинами, стояло обшарпанное здание. На его стенах, даже издали, можно было рассмотреть глубокие рубцы. Это были царепины, не стертая еще запись о тех бомбах, которые в груды кирпича превратили несколько домов.

Кто там живет, в этом искалеченном доме, я не знал. Я следил за окном третьего этажа. Там должны быть очень бедные люди, потому что часто, на проволоке у подоконника, висело для сушки изношенное, ветхое белье. И в этой семье обязательно есть мальчик. Никто ему не купил пестрого попугайчика в нарядной клетке. Потому мальчик завел себе жалкого грача с подрезанными крыльями. Грач неуверенно выскользывал и часами просиживал на пристроенной к подоконнику доске.

Сегодня хорошая погода, думаю я. Окно отворено. Грач должен

появиться. Но зачем это мне? Не знаю. Но я жду, жду очень долго, и это ожидание меня не утомляет.

Видимо, был такой момент, когда мысль моя подчинила своей власти глаза и заставила их видеть не то, на что я смотрел. Вот почему на какое-то время исчез дом среди развалин и пропало окно третьего этажа.

Когда я вернулся из мысленного путешествия, я с радостью увидел грача: он сидел на своей доске и взмахивал укороченными крыльями. Мне стало немножко грустно. Я знал, что этот грач никогда не летал, но я был уверен, что сны его заполнены ветром, силой собственных крыльев и шорохом листвы и чувством свободы, живущем в каждом пере...

Всем этим я занимался, вероятно, чтобы успокоить самого себя. Я развлекался, как мог... Но дни проходили, и вечерами я все-равно подпадал под власть Кока-Колы, ресторанной музыки, чуть слышными мелодиями проникающей ко мне за штору, в мою комнату. Я не буду рассказывать, как я подкрадывался к шторам, раздвигал их, и гримасой, каждый раз иной, встречал белый, зеленый, золотой и красный поток неоновых световых струй.

Теперь мне кажется, что есть какая-то грань между... да, есть точка, после которой человек сходит с ума. Дело уже прошлое, но сейчас я думаю, что к такому пункту я подошел тогда, когда остановился в испуге, вообразив, что пропала Кока-Кола. Ведь может закрыться ресторан? А вдруг прогорит владелец, обанкротится, сбежит, бросив свое дело?

Каждое утро я осторожно выходил и со смутной тревогой приближался к вестибюлю и читал вывешенное меню на очередной день. Я внимательно читал, чтобы не внушить подозрения этому толстому и важному швейцару. Самый тонкий наблюдатель сделал бы вывод, что меня интересуют только мясо, дичь и рыба. Удовлетворенно улыбаясь, узнав, что все в порядке, я возвращался к себе в комнату, чтобы к вечеру опять корчиться перед шторой, посыпать проклятия слову на черном фоне неба и ненавидеть все: и дом напротив, и вывеску по всему третьему этажу, и музыку, и женщин с крашенными губами, и автомобили, подъезжающие сюда, обычно, к двенадцати ночи.

Подчас, все это мне казалось игрой. И я играл. И Кока-Кола играла. А для оживления игры вплетались стоны скрипки и смех женщин... И только когда, в чрезмерном увлечении этой игрой, я закричал и, споткнувшись, упал и ударился головой об стену, я понял, что игра давным давно закончилась. Все шло к развязке, и от меня зависело, какова будет эта развязка...

Задумано все было очень ловко. Только я один мог дойти до этого, потому что я знал, когда закрывается ресторан, и когда все, намеченное мною, можно сделать. И я сделал, не торопясь, к тому же особенного искусства тут не требовалось. Просто — кусачки, изолированные резиной, такие, с какими обычно ходят электромонтеры... Когда я поднялся по лестнице, в доме было тихо и я никого не встретил...

Только легкая смесь запаха духов и кухни напомнила мне, где я нахожусь...

Вернувшись в свою комнату, я лег и быстро уснул. Спал долго и спокойно. Проснулся легко и уже никуда не выходил, с нетерпением ожидая вечер. Чтобы как-то убить время, я присел к столу. Я даже написал письмо своему единственному другу... да, странно: мир так велик, а у меня всего-навсего один-единственный друг. Я подумал об этом с удивлением. Как же это, все-таки? Один... и я писал ему, что был очень и очень болен, страшно болен, так что мне грозила... я ему сообщил, что теперь опасность уже миновала. Я писал все это серьезно, и сам верил своему письму.

Потом стало темно. Зажглась громадная вывеска по третьему этажу дома напротив, но Кока-Кола на играла своими разноцветными огнями... Не играла... Я потирал руки, радовался, улыбался и чувствовал себя молодым. Все! Все в порядке!

Я несколько раз раздвигал шторы и смотрел: конечно же, все. Небо было темное, обычное, и на нем я даже заметил бледные звезды. И все это потому, что нет Кока-Колы. Вот что надо было давно сделать!

Я так радовался, что начал присвистывать. Потом, легкомысленно щелкнув пальцами, накинул плащ и впервые направился в этот ресторан, над которым больше не будет насмешливых кривляний Кока-Колы.

Я занял место у столика, пил кофе и слушал музыку. Музыканты слегка фальшивили, но на это никто не обращал внимания. Я тоже простили им это, потому что им надоело скрипеть тут каждую ночь и вдыхать воздух с запахом пудры, духов и разгоряченного человеческого тела.

На следующий день Кока-Кола тоже не сверкала. Я уже совсем успокоился и мои прежние страхи казались мне далекими и смутно вспоминаемыми. Я даже усмехнулся, подумав о старике Савелове и его «курсе лечения». Когда-нибудь я встречусь с ним, нет, я пойду к нему скоро и обязательно расскажу обо всем. Пусть и он посмеется.

Но в вечер третьего дня, не знаю для чего подойдя к окну и распахнув штору, я чуть не закричал от боли: бело-зелено-золотисто-красные струи корчились в темноте от смеха и глумливо визжали: Кока-Кола...

Я опустил штору. И понял: то — было в субботу... в воскресенье электромонтеры сидят по пивным, а в понедельник... да, сегодня понедельник, и монтеры все привели в порядок... Я ошибся. Глупо ошибся! Как же я не сообразил, что исправить проводку так просто. Раз-два-три — и готово...

Я застонал и потрогал голову рукой... Нет, я не хочу биться головой об стену, не хочу сходить с ума. Что мне дороже: я, или...

Ну, конечно, это же так понятно: я — это целый мир, мой мир, и поступиться, жертвовать им по капризу Кока-Колы я не хочу и не намерен. Что такое Кока-Кола? Белое, зеленое, золотое и красное... Вспыхивает и потухает. И опять вспыхивает... Да, потушить Кока-

Колу я не могу... но уничтожить... не вообще уничтожить Кока-Колу, но вот тут, здесь, навсегда освободиться от нее я могу.

О чём размышлять? Это же так просто. Это до того просто, что меня даже испугала мысль о страшной злобе, заключенной в с виду покорную и мертвую материю. Как не понимают этого люди? Если бы они поняли это, они бы отказались изучать химию и физику. На самом деле, зачем нужны человечеству эти науки, так усложняющие жизнь? Без них обыкновенно светит солнце и поле родит хлеб. Если бы не было химии и физики, не было бы Кока-Колы... и я думаю о физике и химии, и этими же науками готовлю месть Кока-Коле. Чем ты порождена, тем ты и будешь убита, со злорадством шепчу я чужие слова и испуганно оглядываюсь, как бы боясь, что кто-то подслушает мои мысли.

Мне не надо ничего изобретать. Все уже давным-давно открыто. Мне не надо даже покупать какие-либо пособия. Стоит мне слегка попросить мою память и она подскажет, как немного надо, например, азотной кислоты, чтобы взорвать этот громадный дом.

Нет, а до чего подла и коварна эта азотная кислота! Ее можно сохранять в паршивой пивной бутылке, подобранный на свалке, среди нечистот. Но вот несколько чайных ложек этой азотной, неосторожно смешанной с глицерином дадут... я даже выразительно постучал пальцем по столу и громко, как будто передо мною сидели невнимательные ученики, сказал:

— Дадут нитроглицерин...

Сказал, и сам испугался, как будто я первый открыл эти удивительные и злые свойства материи, своей легкостью соблазняющие делать то, чего нельзя делать. Нельзя? А сходить с ума можно?

Я спорю с самим собой, я перебиваю себя, упрекаю, и чтобы прекратить все это, иду к старику Савелову.

Я не совсем отчетливо представляю себе, что я буду говорить ему, и что он мне скажет. Но я иду, потому что я боюсь остаться наедине с этим вторым Я, настойчиво требующим принять какое-то решение.

— Давненько вас не было, — сказал Савелов, потом удивленно восхлинул: — Что? Да вы больны! Взгляните на себя...

Мне сразу стало жарко и я на самом деле захотел посмотреть на себя. Но в этой мансарде на седьмом этаже не было зеркала.

— Рассказывайте, что с вами?

— Вот, — растерянно сказал я. — Пришел к вам пить чай на кузнецовых блюдцах...

— Прекрасно, прекрасно, — прервал меня Савелов. — Понимаю... Будем пить чай...

Странно, почему он «все понимает?» Я силился разгадать тайну намека и чтобы выиграть время на размышление, спросил старика, как он живет, какие имеет переводы и чем занимается.

Он о чём-то говорил. О чём, я теперь не знаю. Видимо, я и тогда не особенно внимательно вслушивался в его слова и так был занят своими мыслями, что вздрогнул, заметив пристальный взгляд старика.

— Кошки и мышки? — сказал он, глядя мне в глаза. — Прятушки? Перестанем играть... Вы больны... и это далеко не грипп...

Я растерялся и начал утверждать, что чувствую себя прекрасно. Но постепенно, неожиданно для самого себя, я стал рассказывать тут же выдуманную историю о человеке, который замышлял что-то, прибегая к услугам курса химии и физики, оставшегося в цепкой памяти после гимназии. Закончив это, я спросил:

— Скажите, ведь может же быть оправдание человеку, убившему другого человека? Наверняка может быть...

Мы сидели на диване, рядом, и старик говорил, что оправдание человеческое не есть еще оправдание. Желая разрушить стройную стакиковскую философию, я улыбнулся и сказал:

— Так что же? Нужно еще и другое, таинственное оправдание? От Бога, что ли?

— Да, и от Бога... если вы считаете его имеющим право решать судьбу вашей души...

— Как же Бог может оправдать убийство? — не сдавался я. — Это уже какая-то нелепость... Тогда надо отбросить вечное «не убий»... И что же тогда останется?

Савелов потер свои сухонькие руки и тихо ответил:

— Все останется, и ничего не надо отбрасывать... Мне так кажется... Закон души вечен, неизменен, и в неизменности своей свят и непрекращаем... А если возможно оправдание тому, о котором вы сказали, то... только от Него...

— Ага! Значит может быть оправдание и от Бога?

Савелов долго молчал, как бы что-то вспоминая. Потом он погладил меня по плечу жестом, каким успокаивают разволновавшегося ребенка, и сказал:

— Знаете, я вам передам очень короткий рассказ. Когда я его слышал? Давно уже. И рассказывал мне его один старенький священник, очень долго пробыгший в Соловках. А он его рассказывал уже по им же слышанному среди заключенных, среди умирающих рассказу... И, мне кажется, этот рассказ в какой-то мере, стороной, чуть-чуть, но помогает найти ответ на то, о чем вы сейчас говорили.

РАССКАЗ САВЕЛОВА

Умер человек. И позвал его Бог на суд. Потому что человек был многогрешен. И сказал Бог:

— Вот, знаю я, грешен ты... Я призвал тебя. Говори...

Не поднял глаз умерший и ответил:

— Грешен я... И не могу оправдываться, потому что нет у меня таких слов для себя, и весь я в Твоей воле...

— Неужели так многогрешен, что даже не назовешь святого, который бы мог о тебе сказать?

Встрепенулся ушедший из жизни человек и упал перед престолом Бога:

— Есть у меня такой, как же, есть... Позволь, Господи, пусть говорит святой Никола...

Посмотрел Бог на грешника, но грешник не видел, не мог видеть этого. И не знал грешник, что уже идет святой старенький Николай, и только услышал голос Господа:

— Вот, Николай, тут тебя требует страшный грешник и ищет грешник защиты. Чем заслужил ты, Николай? Простой ты, с бородой, с мужицкой бородой, и вида у тебя нет... А зовут тебя, зовут отовсюду приходящие: и поморы, и из степей, и с Севера, и из тайги дремучей...

— Пусть зовут, Господи, — тихо ответил Никола. — Они сами знают...

Тогда обратился Господь к грешнику, и тот, мертвый уже, поднял веки глаз, чтобы видеть суд над собой.

— Ну, вот, ты многогрешен... Ты знаешь, как ты многогрешен?

— Знаю, Господи...

— Ты буйно прожил свои дни?

— Буйно...

— Ты украл?

— Украд...

— Ты убил человека?

И тут склонился перед Богом Никола и говорит:

— Дай мне сказать, Господи!

— Говори...

— Господи! Да, украд он, когда голоден был и страшен был, и жизнь свою проклинал... А убил? Вспомни, Господи, где он был? Разве может то человек вынести? А ведь это человек, Тобою сотворенный... ведь он человеком был... Был он человеком, Господи, и солнце Твое любил, и песни пел, и дитя на руках держал... и на звезды Твои смотрел и в звездах Тебя видел... А там, в том месте, зверем его сделали, и ничего он уже не мог видеть. И ничего не видя, он вспомнил, что и он человек, Тобою созданный. И вспомнив, захотелось ему опять человеком стать. И ушел он оттуда... Вспомни, Господи, как в снегах тонул он, и замерзал, и голодным падал и полз, и поднимался, и опять падал... и кору сосны жевал, обманывая себя... А ведь все это для того, чтобы вновь стать человеком, которым Ты его создал. И вот он уже почти достигал этого, уже руку поднимал, чтобы крест Твой положить на себя, чтобы возблагодарить Тебя... и тогда услышал человек идущего и приближающегося к нему того, кто запрещал ему быть человеком... Тогда в последний раз встрепенулась в нем Тобою же созданная его душа, в тоске встрепенулась данная Тобою душа... тогда увидел он звезды, Тобою созданные, и Твое солнце, и росы Твои увидел, и в тоску впал, и в тоске притаился он, и мысль страшная родилась у него. И, затаясь, подождал он того, позади идущего и нагоняющего и, таясь, убил он следующего за собой, крадущегося по следам... и убил он того человека...

— Вот, ты сам, Николай, сказал: убил он человека...

Заломил Никола свои старые руки и протянул их к Господу:

— Убил, Господи... Ведь Ты сам видел, как он его убил...

Посмотрел Господь на многогрешного и опять говорит:

— Ну, а потом что... говори, Николай!

— Потом он взял оружие в руки...

— Чтобы убивать?

— Чтобы убивать... ведь Ты же знаешь, Господи...

— Смотри, Николай, ты говоришь...

— Говорю, Господи...

— Говори...

— Ну и взял он оружие... Помнишь, Господи, как шел он по городу горящему. Дома валились и под комнями своими хоронили людей... А он шел с оружием. И увидел: вот горит дом, а мимо бегут и бегут обезумевшие от крови и страха люди, а в окне горящего дома ребенок маленький, девочка крохотная, плачет и ручки тоненькие тянет к бегущим мимо и не видящим этого... Ручки тянет, а сзади огонь к ней приближается. А люди бегут и бегут, и никто этого не хочет видеть... А этот, взявший оружие для убийства и уже раньше убивший, остановился, и посмотрел, и страшно закричал, и полез в огонь, и схватил ребенка, девочку крохотную... и в шинель свою завернул. Оружием расталкивая дым... вырвался сквозь огонь, и поставил ребенка на Тобою, Господи, созданную землю... А девочка подняла глаза и увидела в другом окне, с еще не разбитыми стеклами, как тычется в стекло и беззвучно раззевает свою мягкую розовую пасть маленький котенок... Девочка схватила руку того, кто вынес ее, схватив руку прежнего убийцы, заплакала и пожаловалась ему: «Смотри это мой... дай...» И убийца послушал ребенка, и девочка долго и напрасно ждала его, сложив ручку у подбородка... Вот видишь, Господи, это и есть тот, убивший, и обязанный отвечать перед Тобой за грехи свои... Теперь — суди...

Господь положил руку на голову седую Николы и сказал:

— Знают обездоленные с Каспия, и поморы, и из степей горячих кого выбирать своим заступником... Иди, Николай, и бери с собой этого, прежде убившего... Иди...

Так закончил свой рассказ Савелов. Все во мне заволновалось, и я спросил:

— Значит, можно и убить? Значит: «Иди, Николай, бери с собой прежде убившего...»

Савелов (тут я впервые заметил, какие у него тонкие и дряхлые руки) обнял меня и тихо сказал:

— Нет, нельзя... Потому что у человека нет сил так искупить свой грех, как искупил тот, у которого было древнее право позвать к себе защитником Николу...

3

Под вагонами веселым рокотом переклинулись колеса, пробегая по стыкам рельсов. Это как будто вернуло рассказчика к действительности. Он нервным движением пригладил коротко остриженые, под машинку, волосы и повернулся к окну.

В этот момент я с особенной отчетливостью рассмотрел его профиль; он мне что-то напомнил. Я уже где-то и когда-то его видел. Мне хотелось вспомнить этот забытый рисунок, но, видимо, стремительный

бег фонарей все время менял выражение его лица и мешал мне сосредоточиться.

— Я все время вам рассказываю, — вдруг сказал он, — может быть вам надоело слушать повесть человека, совсем недавно бывшего сумасшедшим?

— Нет, — нерешительно ответил я. — Но все это как-то странно... вы рассказываете так, словно вас это не касается, а говорите вы о ком-то другом... Мне кажется...

— Вам кажется, — неожиданно сухо перебил он меня, — что бы в ший сумасшедший никогда бы не рассказал о своей болезни и... преступлении... И кому? Первому встречному? Так, что ли?

— Допустим, так... Но все же меня... интересует конец этой повести...

— Конец? А вы можете представить себе, что конца в моей истории еще нет. Так-таки и нет... Да, вам может быть не совсем ясен этот дряхлый Савелов? И какую роль он играл? Так я вам скажу, что он, а не кто другой, отвлекал меня от Кока-Колы, пытался что-то сделать, и в то же время убеждал меня, что «моя песенка спета»... Нет, не совсем точно: он этого не говорил, но я чувствовал, что он так думает, что он знает обо мне лучше, чем я сам. Потому что он говорил, что лучшим для меня лекарством могли бы быть леса около Урала, или степи у Дона, или тишина у старого Байкала. Однажды, смеясь, он сказал, что я мог бы поправиться, даже медленно умирая около Полярного Круга... но только не здесь, не на этой чужой земле, не в этом городе, наполненном неоновыми ручьями хохочущей Кока-Колы... И тогда я понял, что стариk прав. А так-как все, приписываемые им лекарства, для меня недоступны, то и надежда спастись была только одна. Об этой возможности я ему и сказал, кстати, напомнив когда-тощий его рассказ о многогрешном человеке.

Савелов страшно растревожился. Он убеждал, что и тут можно куда-то поехать в горы, в леса, избавиться от всего того, что мешает жить и что сводит с ума.

Он так мне надоел этими разговорами, что однажды я закричал ему в лицо, что здесь за солнечный луч и за воздух надо рассчитывать наличными. А так как нет чистогана, что прикажете делать? В Рейн головой?

Этот хитрый умница даже не обиделся. Видимо, ему так надоела его мансарда на седьмом этаже, что он все время проводил у меня. Дошло до того, что он даже притащил в мою комнату два своих одеяла и устраивал себе постель на полу, около зеркала.

Как-то он очень спокойно предложил мне поехать в горы Таунуса, в одну знакомую ему деревню. И там жить. Чудак, он даже придинул к себе бумагу, взял карандаш... и вот тут я увидел, насколько он беден. Он высчитывал экономию на том и на этом, он даже записал какие-то 43 пфенига, которые можно сберечь, если перейти с этого сорта рыбы на другой. Потом он радостно хлопнул себя по лбу: страшный курильщик, он отказывался от табаку и пришел к выводу, что это в месяц даст возможность заплатить за три дня пансиона.

От такой затеи я отказался. Я очень сухо поблагодарил его и даже сделал вид, что все это мне надоело... Он перестал говорить об этом,

как будто забыл о своих планах, и все-таки продолжал спокойно укладываться спать на свои одеяла.

Я понял: он изучал меня, наблюдая осторожно и скрытно. Я каждую минуту чувствовал, что он следит за моими движениями и подмечает, что у меня стала дергаться левая бровь. Я старался удерживать эту дрожь, злился, и чем больше злился, тем сильнее она дергалась. Он все это подмечал, все хранил в своей цепкой старческой памяти.

И то, что он почти все это время проводил у меня и, даже, ночевал, все это было хитростью. Его захватывало наблюдение надо мной, над тем, как развивается моя болезнь. Меня это раздражало. В особенностях по ночам... По ночам я притворялся спящим, чтобы обмануть его. Но мне это не удавалось. Проклятое окно тянуло меня неудержимо. Я потихоньку поднимался с дивана, раздвигал шторы и кривлялся, глядя на смеющуюся надо мной Кока-Колу. Я кривлялся, не мог удержаться, хотя знал, что Савелов, затаив дыхание, следит за мной.

Наконец, я не выдержал. Еще не погасив на своем лице гримасу, я повернулся к Савелову и закричал, что меня мучит это наблюдение, и что теперь он может идти к черту, потому что он меня вылечил. Это было грубо и дико, но я потерял власть над своими чувствами и равнодушно смотрел, как одевается Савелов и шарит около себя, разыскивая свои истоптанные туфли. Я даже не зажег свет, чтобы облегчить эти поиски. И когда за ним закрылась дверь, я плясал от радости свободы и возможности делать то, что мне нравится.

А я знал, что делать. Я отомщу этой Кока-Коле, в моей силе прекратить ночную музыку, ядовитой струйкой просачивающуюся ко мне в комнату... Я все подготовил к этому. Я даже установил день и час, когда потухнет Кока-Кола и я опять увижу небо... да, и ко мне придет луч солнца, упадет на угол моего стола и этот луч я смогу потрогать. Пускай до прихода этого луча осталось несколько месяцев... осень... зима... весна. С весной придет и луч солнца...

Ну... и меня арестовали... И был суд, и знаете что: Савелов был свидетелем. Против меня. Он доказывал, что я сумасшедший. Меня это развеселило, я смеялся над ним и говорил, что этот дряхлый старец сам не в себе. Посмотрите на него, кричал я, на его трясущиеся тонкие руки, спросите, как он прикидывался нормальным, с хитростью сумасшедшего шпиона за мной. Я все видел, но ничего ему не говорил. Мне жаль было обижать старика. А его подсчеты пфенигов? Разве это не сумасшествие? Он сумасшедший, а не я... Берите, держите его! Я здоров... ну, да, мне мешает ваша Кока-Кола... И почему укради маленький луч солнца, который весной, на несколько дней, приходил в мою комнату? Больше он не вернется... Почему вы меня лишили этого? Я знал об этом лучше всех! Я не сумасшедший! Посмотрите в мои заметки, в мои расчеты! Разве может сумасшедший так точно все высчитать? Ведь это я установил, что через двадцать лет, в такой то день и такой то час... Что? Почему мне выворачивают руки?

Видимо, я очень разволновался, потому что на меня бросились полицейские. И я заплакал... и через несколько дней с удивлением рас-

смотрел свой халат, врачей и совсем равнодушно понял, что это здание, из окон которого видно тихое море, дом для душевно больных.

Понимаете? Я был в этом доме... Я не сумасшедший, но они держали меня здесь по вине Савелова... Я ему все простил, не мог не простить: старик в припадке помешательства оговорил меня... Он не виноват...

Потом они убедились, что я здоров. Теперь-то уж окончательно убедились...

— Скажите, а вы уверены, что я здоров? — вдруг спросил он.

— Да, я убежден в этом...

— Ну, вот... и позавчера я стал свободен... Если бы вы понимали, как отрадно чувствовать себя свободным и здоровым... и не видеть Кока-Колу... Слушайте, — таинственно зашептал он, — вот мы едем целую ночь и нигде, ни разу не мелькнула своими бельми, зелеными и кровавыми гримасами Кока-Кола... Все это такое далекое, все это вспоминается кошмаром, который никогда не вернется... Я свободен и путешествую, встречаюсь со здоровыми и не сумасшедшими людьми... и рассказываю им... вам...

В это время мимо нашего купэ прошел проводник и предупредил, что через пятнадцать минут Мюнхен. Мой сосед оживился и переспросил:

— Что он сказал?

— Мюнхен через пятнадцать минут...

— Да? А... а вы разве тоже едете в Мюнхен?

— Да...

Он внимательно оглядел меня и с удивлением произнес:

— Разве?

Я снял свой чемодан с сетки и накинул пальто. И только тогда заметил, что у моего собеседника нет никаких вещей, нет даже плаща. Я спросил об этом. Он меня не понял или не расслышал мой вопрос. Когда же поезд, уже замедлив бег, стал приближаться к перрону, он вдруг растерянно оглянулся и я опять поразился его знакомому, но так и не узнанному профилю.

Поезд остановился. Из вагона я вышел первым. Спустившись на перрон, я остановился, чтобы подождать его и спросить, я каком отеле он намерен занять номер.

— Вот мы и приехали... — сказал я. — Вы...

Тут я обратил внимание, что мы стоим в тени колонны, хотя весь перрон был залит ярким светом. Мой спутник тревожно оглядывался по сторонам и я невольно следил за его серым в полутьме лицом. Вдруг мимо нас торопливо прошли четверо, двое полицейских и двое санитаров. Они шли и внимательно заглядывали в окна вагонов, видимо, кого-то поджиная. Мимо нас они прошли так близко, что я должен был посторониться.

Мой спутник неожиданно вздрогнул и схватил меня за руку. Я взглянул и увидел его блеснувшие отраженным светом фонарей глаза, устремленные вдаль, туда, к выходу в город.

Я хотел было что-то сказать, но в этот момент он дико завыл, указывая пальцем вперед. Подчинившись этому жесту, я взглянул: в чер-

ном небе высоко висела Кока-Кола, кривляясь гримасами белых, зеленых, золотых и кровавых струй...

Не переставая выть, он толкнул меня и бросился к тем, которые только что подошли к следующему вагону и внимательно разглядывали выходящих.

Я поспешил следом за ним и услышал, как, задыхаясь, судорожно искривив губы, он крикнул:

— Я — здесь!

Он уже не мог мне подать руку, потому что на него очень ловко и легко накинули халат, длинные рукава завязав узлом на спине...

Франкфурт-Майн, 1954 г.

ИСАЙКА

1.

Шторм... Каспийские рыбаки редко говорят такое слово. Для Каспия у них другое: Каспий в беляках, Каспий в гребни встал, Каспий загиграл...

Вот когда играет Каспий грозными волнами, тогда бегут рыбачьи шаланды к островам и становятся под-ветер. И терпеливо ожидают, когда появится первый баклан, борющийся с ветром. Раз баклан пошел в море, значит — устал Каспий, хоть и не покажет этого сразу, хоть долго еще будет играть гребнем.

Баклан все знает, и потому идет в море. Еще немного, и следом за ним понесутся, тревожно покрикивая, доверчивые чайки, то правым, то левым крылом ласково трогая еще сердитые волны.

На этот раз три дня играл Каспий и только на четвертый, к полу-дню, появился баклан. Пролетая мимо острова, он глазом покосился на затаившуюся шаланду Шебаева. С шаланды заметили баклана.

— Ага, пошел! — сказали, и опять стали смотреть в даль, строя догадки, какая причина может гнать к острову небольшую лодку.

Лодка иногда исчезала в серых провалах, пропадала. Потом легко вырывалась на гребень волны, парус свой показывая крылом большой белой птицы, нарочно не взлетающей на воздух.

Когда лодка приблизилась к острову, молодой парень, сидевший в ней, уверенно перекинул парус с борта на борт и под боковым ветром скользнул к шаланде. Пришвартовавшись, парень поднялся на палубу и снял шапку.

— Здоровенъки были, — сказал он. — Вишь, дело-то какое... Батька велел передать, что шебаевский малец расшибся... Исаика, слышь, разбился...

— Что? — захлебнулся Шебаев. — Что говоришь?

— Да я ничего, — отшатнулся молодой рыбак. — Я...

— Ну?

— Так вот, дошло до нас, и батька послал передать сюда... Что разбился Исаика... на камнях у большого мола...

— Кто сказал?

— Да батька сказал... А батьке тот, с Тюленых, а тому — с Рейда, а на Рейд с Мумры пришло... Исаика, сказывают, шебаевский расшибся...

Шебаев медленно опустился на мокрые сети.

— Это что ж? Исаикин батька? — тихо спросил парень и, не получив ответ, постоял немного, и нерешительно, словно виноватый в чем-то, спустился в свою лодку.

Когда лодка оторвалась от шаланды и вновь запрыгала по волнам, Никитин, однолетка и друг Шебаева, сказал рыбакам:

— Горе-то какое... не тревожьте, братцы... уйдите...

Никитин смотрел на лежащего без движения Шебаева и удивлялся, как легко ломает человека несчастье. Ему хотелось утешить, сказать что-то нужное и теплое, но такого слова у него не было. Поэтому он просто положил свою ширкую ладонь на спину Шебаева и прошептал:

— Шебай, а, Шебай... может, зря еще люди болтают...

— Нет, Никитич, — простонал Шебаев. — Чует сердце беду последнюю...

Потом поднял голову, повел глазами по кипящей воде и заплакал бабыми слезами:

— Один у меня был... Исаюшка... Один...

И уже не в силах нести свое горе, вскинул руки к горлу и прокрипел:

— Один... Слышишь — один! За что покарал меня, Господи?

Сказал и испугался своих слов, замолчал, с силой рванул ворот рубахи и глубоко вздохнул. Потом совсем тихо, как будто о чем-то давным-давно решенном, прошептал:

— Домой я пойду... к Исаике...

— Что ты! — испугался Никитин. — Шаланды груженые. Да разве можно с ними выйти в такое море?.. Погоди, Шебай, вон уже баклан тронулся, а там и чайка скоро мелькнет... Утихомирится Каспий и тогда... с Богом!

— Нет! — упрямко качнул головой старик. — Я пойду... Возьму подчалок и пойду... Не могу я, Никитич...

— Смотри сам, — показал Никитин на волны, бьющиеся у острова и на тяжелые тучи. — Разве не видишь? Тебя ли мне учить? Да как вырвешься на воду, и часу не пройдет, зальет твою лодку...

— Ну и что ж? Пусть... там, может, Исаика последнее слово хочет сказать, а я тут... — Шебаев вдруг остановился, пристально посмотрел в глаза другу: — А скажи, Никитич, вот если бы с твоим Митей такое приключилось... стал бы ты выжидать погоду? Говори...

Никитин перекрестился:

— Бог с тобой, Шебай... А только смотри: ночь идет... Знаешь... мы приготовим сейчас подчалок, переменим парус, дождемся рассвета и тогда... ходи себе с Богом...

Пока готовили лодку, пришла ночь без звезд. И в темноте казалось, что тяжко стонут волны у бортов и плачется ветер в снастях.

— Идем, Шебай, поспим... до рассвета уже близко... Отдохни...

Послушно, как ребенок, спустился Шебаев в отгородку трюма. Лег. Но сна не было. Он ворочался с боку на бок и все думал и думал, и картины, одна страшнее другой, мучили его... И вдруг, как в черную яму, упал Шебаев. И во сне сразу увидел яркий солнечный день, и своего Исаику, первого пловца среди рыбакских детей... Вот они — все, друг за дружкой ныряют, и далеко, далеко, дальше всех выглядывает из воды рыжеватая головенка... Радостно засмеялся Шебаев: «Да,

ведь, это мой Исаика», прошептал он и... сразу открыл глаза в черноту трюма. И все вспомнил, и почувствовал, как тяжелые холодные капли покатились по груди.

Задыхаясь, поднялся Шебаев. И как будто боясь, что ему могут помешать, крадучись выбрался на палубу.

Ночь, ветер и волны успокоили сердце. Теперь он знал, что делать. Скорей! Даже подчалок, сразу засуетившийся под ногами, торопил и нервно звал.

Парус, бледной ладонью поймавший ветер, бросил подчалок в сторону. Еще мгновение, и ночь спрятала все. Черно было вверху и черно внизу. Иногда громадная волна высоко поднимала лодку, и тогда Шебаеву казалось, что он висит в воздухе на самом краю пропасти. В тот момент, когда Шебаев руками чувствовал ненужность руля, откуда-то снизу выбегала новая волна, торопливо подхватывала уже падающую лодку и опять выносила ее на гребень.

Эти взлеты и падения в темноте ночи создавали впечатление, что лодка подлетает на одном и том же месте, а под нее бегут и бегут волны. Но по тому, как резал руки шкот и сухо поскрипывала мачта, Шебаев знал, что вместе с ветром, обгоняя волны и холодные брызги, он сам мчится вперед.

Он не думал, что в темноте можно потерять направление. Он жил мыслью об Исаике. Он был до того поглощен ею, что даже не заметил перехода от ночи к серому рассвету, от рассвета ко дню. И только когда справа отчетливо вырисовалась группа островов и Шебаев узнал их, только тогда он с удивлением оглянулся и понял, что ночь давным-давно прошла.

Пошарив глазами по небу, Шебаев хотел найти солнце. Но его не было. Тяжелые, низкие плывущие тучи повторяли беспорядочную пляску волн.

Взглянув на парус, который, казалось, задыхался от избытка ветра, Шебаев определил, что к вечеру он попадет в поселок.

2.

Тихо открыл дверь Шебаев и застыл на пороге. Он сразу увидел все: и Исаику и соседку-старуху, сидящую у постели на низенькой скамейке. Старуха поднялась и осторожно направилась к порогу.

— Ну что, мать? — шепотом спросил Шебаев.

— Тише... спит...

Они вышли в другую половину избы и старуха, задыхаясь от горя, рассказала все. И как сорвался со старого мола, полетел в море и на подводный камень грудью упал Исаика. И о том, как из порта прибежали люди, спасли и откачивали мальчика.

— Четырнадцатый день лежит Исаюшка... Что-то повредилось в нем...

Опустив голову, слушал Шебаев. Слушал и не понимал, как все это могло случиться. И не верилось ему, что его Исаика, самый ловкий и сильный среди подростков, вот так просто сорвался и полетел на камни.

— Вот что, мать... Ты пойди домой... Я один посижу около Исаики...

— Господь с тобой, — всплеснула руками старуха. — Да ты его напугаешь...

— Иди, мать...

Соседка, прижав руки к груди, ушла. Закрыв за ней дверь, Шебаев вернулся к постели и только теперь по-настоящему увидел острое, ставшее синеватым лицо сына. Оно казалось малознакомым и совсем не похожим на лицо того, прежнего Исаики, который уже сам, под легким паруском бегал к ближайшим островкам. Чем больше взглядался Шебаев в беспомощно свернувшегося под одеялом сына, тем острее ощущал какую-то тайну.

Тяжело задумавшись, он не заметил, как вздохнул Исаика и открыл глаза.

— Батя, — прошептал мальчик и тонкими пальцами погладил руку отца.

Шебаев вздрогнул, с трудом передохнул и лицом упал на кровать сына.

— Исаюшка, сынок ты мой, единственный...

— Батя... — чуть слышно прошептал Исаика и заплакал горькими, не детскими слезами.

— Не надо, сынок...

— Батя! Батя! — бился в судорогах Исаика. — Помнишь, батя, ты старикам говорил: «Скоро, братцы, подрастет Исаюшка, шаланду мою возьмет, настоящим рыбаком станет...» Не буду я рыбаком, батя... не буду....

Страшное значение этих слов потрясло Шебаева. Крепко прижав к себе сына, он потребовал громко и прямо:

— Исаика, скажи правду...

Вначале задрожал, а потом затих в отцовских руках Исаика и ничего не ответил. Шебаева это не удивило. В тот момент, когда он спрашивал, он уже был уверен, что Исаюшка ничего не скажет.

Примирившись с этим, Шебаев как будто бы оставил в покое сына. Но часто, когда Исаика спал, он склонялся над лицом сына, словно пытаясь что-то рассмотреть. Но тайна ускользала, не давалась, и тогда Шебаев медленно выходил из дома и тяжело шагал к берегу моря. Здесь, сидя у причала, он часами вслушивался в шорох волн и ему казалось, что волны шепчутся об Исаике.

Наконец, вернувшись груженые шаланды и Шебаев встретился с Никитиным. Никитин выслушал все и спросил:

— А ты у моего Мити допытывал? Ведь они дружки кровные и побратимы...

У Шебаева даже сердце остановилось. Он сразу вспомнил, что теперь Митя забегает к Исаике только тогда, когда в избе никого нет. Ему стало ясно, что Митя знает обо всем, но почему-то не хочет или не может рассказать.

— Так говоришь, — спросил Никитин, — Митя прячется? Погоди... Сиди здесь.

Никитин пошел к разгрузке рыбы. Здесь были все подростки поселка, помогавшие разбирать невода.

Никитин отозвал сына и повел его к таловым кустам. Увидя Шебаева, Митя побледнел и спросил:

— А для чего я вам нужен, батя?

Никитин взглянул на сына, потом на Шебаева и нерешительно кашлянул.

— Видишь, Митя, — наконец сказал он. — По делу разговор будет... А ты от души выложи. О дружке твоем, об Исаике разговор будет...

Митя стоял, опустив глаза. Старики с удивлением смотрели, как медленно отливает кровь с загорелого лица мальчика.

— Митя... — голос Шебаева стал глухим. — Митя, ведь, знаешь сам, что один-одинешенек у меня Исаюшка... И вот такое стряслось. Как могло это приключиться?

— Я... не знаю... на камни упал...

— Митя, — сказал Шебаев и положил руку на плечо мальчика. — Покажи, Митя, крест на шее...

Митя расстегнул ворот рубахи.

— Смотри, — показал Шебаев на простой белый крестик, — ведь это исайкин крест... Я знаю, ты с ним крестиками менялся, Митя, побратимами вы стали... Вот такими побратимами вы стали, как я с твоим батькой... Сколько тому лет прошло, Никитич?

— Лет? — переспросил Никитин. — Много, Шебай, лет прошло... почитай сверх сорока пяти прошло...

— Смотри, Митя, — продолжал Шебаев, — с таких самых, с ваших лет, еще ребятами, и мы побратимились... И тебе с Исаикой судьбой было то же заказано: всюду и всегда вместе, и в море и на льду, всегда друг за дружку стоять. Хорошо, Митя, так стоять, когда имеешь для себя и друга... Хорошо, ведь, скажи?

— Хорошо, дядя Шебай...

— Вот, вот, Митя, — попросил Шебаев, — расскажи, как вы побратимами стали... А мы с батькой послушаем... вспомним и наше молодое время...

И Митя рассказал, как ранней весной они сидели на берегу моря и ожидали первую звезду.

— Потому что с первой звездой, — строго говорил Митя, — Бог дает настоящее нерушимое побратимство. Ждали и смотрели. А вот как над морем загорелась она, мы сразу сняли наши кресты крестильные. Вот так держали кресты, — показал Митя, подняв руки к лицу, — и друг дружке повесили на шею... И при том слово такое мы сказали, такое слово, что никто не разорвет. То самое слово, которое покрепче всего... Поцеловались мы, потом взялись за руки, пошли по песку, потом в воду вошли... Это к тому, дядя Шебай, чтоб крепко было на земле и крепко на волне...

Старики слушали рассказ мальчика и не замечали, как из их выбеленных морским ветром глаз выкатываются слезы и расплываются в морщинах лица.

— Вот, сынок, — сказал Никитин, — по-рыбацки вы сделали, по-дедовскому обычай... Ты — за него, он — за тебя... И вот такое случилось с Исаикой, а ты не хочешь правду сказать... Как же так? Ведь вы же крестами менялись?

Опять схлынула кровь с лица Мити. Побледнев, он твердо сказал:

— Менялись крестами... Я подожду своего времени... я знаю, что сделать... а только сейчас не могу я сказать... Я Исаике крепкое слово обещал. Не говорить ни отцу, ни тебе, дядя Шебай... Я своего времени дождусь...

— Как хочешь, — сказал Никитин. — А только посмотри на Шебая: ведь это его Исаюшка, один он у него... и калекой стал... Что ж, он сам себя искалечил, сам себя на камни бросил? Не поверю тому! А не скажешь... ведь вон старик Шебай от тоски иссохнет... Неужто думать ему веки-вечные, что сын его одинешенький сам на себя руки наложил, на камни бросившись...

— Нет, нет! — со стоном кинулся Митя к отцовской груди. — Нет! Это — Мокрый...

3

Мокрый, которого три года назад миром выгнали из поселка за кражи и поножевщину, столкнул Исаику на камни. Это случилось в то время, когда все рыбаки были в море, и дома оставались только старики и дети.

А за несколько дней до этого, Исаика случайно увидел, как перевозил Мокрый со своим сыном Ленькой новый невод, недавно украшенный с причала. Это было под вечер. Исаика, по пескам возвращаясь домой, увидел Мокрых и бросился к неводу. Мокрый схватил Исаику и замахнулся финкой, но сильный и ловкий подросток крутнулся и со страшной силой ударил головой в лицо Мокрому и вырвался.

Обо всем этом сам Исаика рассказал своему побратиму и они дали слово молчать до прихода рыбаков с путиной. И сговорились держаться вместе, боясь, что Мокрый подкараулит где-нибудь Исаику и убьет. И все ж не усмотрели. К старому молу подкрался Мокрый, толкнул с громадной высоты Исаику на камни и бросился к Мите. Но Митя во-время заметил и сам, ласточкой, скользнул в море.

— Пстом, когда люди откачали Исаику, — продолжал Митя, — ко мне подошел Мокрый и по-змеиному прошипел: «Расскажешь, как оно дело было, зарежу батьку... и тебя, дядя Шебай»... Вот тогда мы прошли с Исаикой молчать, пока я не вырасту и не рассчитаюсь с Мокрым. А Исаика еще сказал: «Будем молчать, уж я один пострадаю, а ты береги отцов»... Вот почему я молчал, — заплакал Митя.

Мите дали выплакаться, успокоили и отправили к шаландам.

— Ну, Шебай, что теперь думаешь делать? — после раздумья спросил Никитин.

Шебаев не сразу ответил. Опустив голову, он, казалось, решал что-то очень важное, о чем сразу и говорить нельзя.

— Страшное я подумал, Никитич... Такое страшное, что боюсь смотреть на свои руки, — сказал Шебаев, и как будто на самом деле опасаясь взглянуть на них, засунул крепко сжатые кулаки в карманы кожаной куртки. — Такое надумал... вот пойду к Мокрому, скажу: «Ты убил сына моего!» Скажу это самое... и... задавлю его...

Шебаев вытащил руки из карманов. Руки были грубые, твердые,

очень большие и когда он начал соединять растопыренные пальцы, как будто уже скимая ими горло врага, не выдержал Никитин.

— Шебай, опомнись! Не бери тяжесть на душу... Грех-то какой... погоди, может выздоровеет твой Исаюшка...

Старики долго сидели у кустов. Уже небо засиялось звездами и по морю легла лунная дорога, а Никитин продолжал уговаривать:

— Не бери тяжесть на душу...

— Ладно, Никитич, — наконец сказал Шебаев. — Подожду, а только завтра все же пойду к Мокрому... Скажу: «Мокрый, я знаю все... хочешь спасти меня от греха, уходи из наших мест... у тебя еще есть время. А не уйдешь... грех свой буду отмаливать, до могилы буду мучиться, а только не жить тебе».

И он сдержал свое слово, ходил на выселки, был в доме Мокрого. Об этом через несколько дней узнали рыбаки в трактире Кутум, куда, после удачного промысла в порту, около кораблей и грузов, ввалился полуляпанный Мокрый.

Потребовав водки, он с пьяной откровенностью хвастался:

— Эй, вы, селедочки! Управу на Мокрого хотели найти? Как же, не на такого напали... А тут еще Шебай приперся ко мне, уходи, говорит, из наших мест... За щенка своего сердится... А не уйдешь, говорит, не жить тебе... Как показал я ему финку, — тут Мокрый вытащил широкий и блестящий нож, — так собакой выскочил ваш Шебай...

Мокрый глотнул водки, выругался и засмеялся:

— Во время выскочил... а то я бы ему шкуру попортил...

Обо всем этом говорили рыбаки и шептались по вечерам бабы. В тревоге все лето жил поселок.

4

К осени встал Исаика, худенький, какой-то скособоченный и вялый. С трудом выходя из избы, он садился на приступочку, целыми днями посматривал на улицу, поджидала отца или Митю.

Когда закончилась осенняя путина, Шебаев все время проводил дома. И чем дальше, тем больше убеждался он, что не поправится Исаика и навсегда останется калечкой. Эта мысль мучила его и в особенности тяжело стало к весне, когда началась подготовка к выходу в море.

Направляясь к своей шаланде, он часто останавливался около причалов и с горечью рассматривал сверстников своего сына. Все они были здоровые, крепкие и с каким-то птичьим задором возились со своими завознями и переметами, укладывая их в лодочки. Потом звонко перекликались и с мужественной грацией мальчишеск, принявших в себя кровь поколений морских рыбаков, умело поднимали паруса и бежали к ближайшим островам. Наблюдая, как уменьшаются и уменьшаются косые крылья парусов, Шебаев скимал губы и горько думал о том, что не станет Исаика рыбаком и некому будет передать верную шаланду.

Рыбаки пробовали успокаивать старика, утешали, вот, Бог даст, говорили, выправится мальчик, подымется, будет помощником отцу. Говорили от чистого сердца, и этим словам сами хотели верить.

— Один сыночек у меня... один Исаюшка, — шептал он и смахивал слезу. И жил с крепкой надеждой, что, вот, вернется он после пущины и увидит своего прежнего веселого и сильного Исаику.

С такими мыслями и ушел Шебаев в море, на долгую весеннюю пущину. А когда вернулся уже летом, бегом направился домой и перед порогом остановился и руки прижал к широкой груди. Успокоив сердце, тихо открыл двери избы, ожидая чуда.

Худеньким лицом повернулся Исаика и Шебаеву показалось, что перед ним только одни большие и печальные глаза сына.

Чудо не случилось. Со стоном опустился на скамью Шебаев и заплакал:

— Исаюшка... сынок ты мой...

Исаика поднялся с табуретки и подошел к отцу. Тонкие и ласковые руки обняли старика.

Шебаев глубоко вздохнул, встал и легкота, как младенца, поднял Исаику и отнес его к окну. Сев рядом, он гладил рыжеватые волосы мальчика, и вдруг все свое несчастье увидел в прошлом, совсем чужим, не имеющим никакого отношения к сегодняшнему Исаику, у которого такие хорошие, теплые пальцы и большие, ясные глаза. Поновому взглянув на своего сына, Шебаев с поразившей его радостью понял, что никогда раньше не любил он так своего Исаику, как любит теперь этого мальчика с изуродованной грудью и нескладной походкой.

Это было новое, удивительное чувство, для которого, казалось, в душе простого и грубого Шебаева не могло быть места. Весь охваченный этой тонкой, поющей внутри радостью, он все свои свободные часы проводил с сыном, без конца рассказывая ему о море, о парусах, с бакланах, бесстрашно летящих навстречу шторму. Видя с каким волнением слушает обо всем этом Исаика, Шебаев сам себе поражался, откуда у него берется так много слов, чтобы передать сыну и красоту лунного блеска на играющих волнах, и тяжесть стелющихся над морем туч, и возню чаек на отмелях Кара-Бугаза. Даже песни стал петь старик, сидя рядом с Исаикой.

Постепенно горечь уходила из сердца Шебаева. Он уже без зависти смотрел на чужих детей, сверстников сына, подросших и помогающих своим отцам на берегу моря. Без боли, сильной прежде, он наблюдал, как дети рыбаков постепенно приучались поднимать настоящие, тяжелые паруса и управлять ими. Уже не мучила мысль, что ничего этого не сможет сделать Исаика, и что никогда из него не выйдет рыбак, помощник отцу.

Но самое удивительное, что произошло с Шебаевым, это было полное освобождение от той звериной ненависти, которую он питал к Мокрому. Он уже не думал о мести тому, кто искалечил его единственного сына.

Почему произошла такая перемена, Шебаев не пытался разобраться. Он был далек от мысли, что по-новому вспыхнувшая любовь к сыну заслонила все прежнее, и что рядом с этой любовью уже не могло быть места ни сожалению, ни злобе. Если кто-либо говорил о Мокром,

Шебаев слушал без волнения и даже лицо Мокрого теперь вырисовывалось каким-то тусклым пятном, о котором не хочется и думать.

Видимо, в душе Шебаева все прошлое было бы похоронено и окончательно забыто, если бы однажды то страшное не вернулось назад неожиданно и дико. Это случилось как-то под вечер, когда Шебаев случайно, около своего дома, встретил Мокрого и его сына Леньку. Мокрый, по-обыкновению, был пьян. Со злобой взглянув на Шебаева, он остановился и закричал:

— Ха! Селедочник! Щенок твой, говорят, не подох? Уже ползает? Погоди, я ему башку отвинчу!

Вся кровь, которая была в крупном и сильном теле Шебаева, удалила ему в голову. Потеряв рассудок, он бросился к Мокрому и схватил его за горло. В руках Шебаева сразу обмяк и повис Мокрый, и Шебаев уже знал, что под его пальцами в страшной муке умирает человек. Он видел, как пеной закипели губы, как стали выползать глаза Мокрого, видел, и уже не мог остановиться.

И вот тут Исаика, сидящий у калитки на скамеечке, закричал:

— Батя! Не надо... Батя! ..

Короткое, тоскливо «б а т я» разжало твердые пальцы Шебаева, привыкшие к грубым канатам, к тяжелым снастям и крепкому рулю.

5

О Мокром опять заговорили в поселке. Тревожно передавали, что поклялся он прикончить Исаику. Обо всем этом шептались и с удивлением поглядывали на молчаливого Шебаева, который как-то отошел от людей и почти все вечера просиживал на мостках, глядя в море.

Он думал о чем-то своем и не обращал внимания на суетню берега. Он даже не интересовался, что делается на его шаланде, тоже готовящейся к выходу на путину. Когда же пришел к нему Никитин и напомнил, что все готово, он просто, как о чем-то окончательно решенном, сказал:

— Поведешь ты, Никитич... С Богом... Я остаюсь...

Шаланды ушли и сразу опустел берег. На осиротевших причалах целыми днями дремали чайки, уже переставшие обращать внимание на неподвижно сидящего старика.

Часами сидел Шебаев и пристально разглядывал даль. Иногда, как будто встревоженный чем-то, он вскакивал, торопливо садился в подчалок, поднимал парус и уходил в море. Но очень скоро возвращался назад и тогда был похож на человека, не получившего ответ на свой очень важный вопрос.

Но однажды он дождался... Это было перед заходом солнца.

Верховный ветер резво гнал подчалок по белым гребням волн. Туго натянутые шкоты звенели проволокой.

Слегка склонившись, Шебаев прищуренными глазами разглядывал далекую, идущую под легким парусом лодку. Она шла в направлении от Мумры к Двенадцатифутовому рейду.

Через некоторое время Шебаев уже мог определить, что в лодке находились два человека. Чтобы еще лучше видеть, Шебаев лег на

борт и ладонью сделал козырек над глазами. Наконец, уже в чем-то убедившись, он стал торопливо набирать на себя парус. Послушный подчалок прибавил ходу, и скоро Шебаев уже знал, что в лодке под маленьkim парусом был Мокрый со своим сыном Ленькой.

Это его не взволновало. Много раньше, когда он только думал о возможной встрече, сердце его вздрогивало и глаза заволакивались туманом. Теперь ничего этого не было. Сердце работало ровно, а глаза казались удивительно чистыми и зоркими.

На лодке, к которой стремился Шебаев, видимо что-то почувствовали. Лодка быстро переменила направление и бросилась к берегу. Шебаев все понял. Уверенно оглядел свой косой парус, он деловито перекинул его на другой борт и помчался наперевес.

Расстояние между лодками все уменьшалось и уменьшалось и, наконец, люди встретились глазами. Мокрый все разгадал: он вскочил, выхватил сверкающую финку и закричал. Шебаев не пытался разобрать слова и равнодушно наблюдал, как Ленька работает рулем.

Вдруг Шебаев круто подобрал шкот, и теперь на парусе уже не было ни одного вершка, который бы не помогал лодке. Слегка обогнав Мокрых, Шебаев рванул руль. Вслед за этим рыбакский подчалок покорно развернулся и всей своей быстрой тяжестью кинулся вперед. Страшное значение этого сразу понял Мокрый, но было уже поздно: раздался сухой треск ломаемых бортов и тяжелый нос подчалка легко разрезал шлюпку, оставив в море мачту, парус и двух человек.

Пройдя немного, Шебаев ослабил шкот и освобожденный парус беспомощно заплескался. Подчалок остановился, покачиваясь на волнах. Шебаев оглянулся вокруг, прикинул расстояние до смутно угадываемого берега и, как будто что-то подсчитав, вновь поймал парусом ветер. Подчалок запрыгал по волнам.

Через полчаса Шебаев опять остановился и задумался. Потом развернулся, и все время меняя галс, ловя ветер то правым, то левым бортом, побежал назад. Скоро он увидел двоих, еще держащихся на воде, но уже выбившихся из сил. Ни слова не говоря, он приблизился к сыну Мокрого и кинул ему канат. Потом глухо сказал:

— Выбирайся на нос...

Шестнадцатилетний Ленька, дрожа от страха, уселся. В это время почти к самому подчалку подплыл Мокрый, но Шебаев равнодушно набрал на себя парус и лодка бросилась в сторону. Мокрый вначале ругался, потом стал слезно просить, наконец, поклялся, что уйдет из под Астрахани, уйдет в Одессу или Севастополь.

Шебаев, склонив голову, казалось, ничего не слышал. Скоро за кормой все затихло...

С тех пор никто больше не видел старика Шебаева. Поговорили о нем, покачали головами: всякое бывает с морским человеком. И забыли...

Только Никитин мог бы рассказать, как одной ночью явился к нему Шебаев, вызвал к причалам и попросил:

— Возьми, Никитич, Исаюшку в дом... Шаланду и снасти перейми... Исаике отцом будь... А я с грехом своим пойду... Прощай, Никитич...

Посмотрел Никитин на своего друга и сказал:

— Бог судья... Иди, Шебай...

И молча провожал его по дороге на Астрахань. Потом сел и думал о судьбе человека, с которым более сорока лет ходил в море. И решил, что все правильно сделал Шебай.

Долго сидел на камне Никитин. Когда же посветлел Каспий и закричали проснувшиеся чайки, вернулся в поселок. Потом медленно подошел к шебаевскому дому, осторожно отворил дверь и увидел Исайку. Мальчик сидел на своем месте около окна и, казалось, кого-то поджидал.

— Как же так, дядя Никитич, — спросил со слезами Исайка, — как же я пойду к тебе, а вдруг батя вернется?

— Что же, сиди, Исайка, дома... Может... все может быть...

И только поздней осенью перебрался Исайка к Никитиным...

6

Через два года после этого, летом, неожиданно появился Ленька Мокрый с компанией портовых босяков. Побив окна в пустой шебаевской избе и, загуляв в Кутуме, он рассказал, что произошло некогда, около Двенадцатифутового рейда. Рассказал о том, что Шебаев разрезал подчалком их лодку, отца потопил, а самого Леньку подобрал, довез до отмели и высадил.

Узнав, что с тех пор пропал Шебаев, Ленька поклялся отомстить за смерть отца, грозился пустить по поселку «красного петуха». А потом, горланя песни, пьяные босяки направились к городу.

Примерно с этого же времени с Исайкой стало твориться что-то странное. Вначале потихоньку, потом все громче и громче заговорили с том, что Исайка боится смотреть на воду.

«Эт, бабы болтают несуразное», отмахивались старики. — «Ну что ж, что не ходит к Большой Волге: ему тяжело». Но когда Исайка не захотел подходить и к Кутум-речке, это заставило и стариков поднять плечи и поверить, что с ним творится неладное.

Рыбаки, их дети, весь поселок был непосредственно связан с морем, и поэтому боязнь воды, обнаружившаяся в Исайке, была воспринята не только как нечто непонятное, но и страшное. Для них вода естественна и проста, как естественен воздух для человека. Это вечный закон жизни, и нарушение этого закона, которое они видели в Исайке, их не только волновало, но и пугало своей таинственностью.

К тому же, скоро многие имели случай убедиться в силе этой болезни. Случилось это в мае, когда Исайке исполнилось пятнадцать лет. Исайка шел с Митеем и вдруг остановился перед мостиком, задрожал, зажмурил глаза, как будто боясь ослепнуть от играющего в ручье солнца. Приняв это за щутку, Митя схватил Исайку и сделал вид, что тянет его в воду. Исайка забился в истерике. Сбежавшиеся рыбаки уложили его на песок, растирали его застывшие в судороге мышцы и одеревеневшие пальцы.

С тех пор Исайка и близко не мог подойти к воде. Как может человек бояться воды, спрашивали рыбаки друг друга, и не находили ответа. Даже самые древние старики и те не знали, что сказать.

Еще меньше во всем этом понимали сверстники Исаики. Но они помнили, что совсем недавно он был среди них первым силачом и пловцом и теперь, глядя на больного Исаику, они искренне его жалели, старались хоть чем-нибудь скрасить его жизнь. В этом очень помогала Исадская луговина, с которой была связана жизнь поселка. Через луговину прошли многие поколения рыбаков. Луговина была своеобразной историей, хранительницей воспоминаний, школой традиций.

Исадская луговина была местом, где собирались подростки, уже выходившие с отцами на промысел. Казалось бы, море одно и то же, но молодые зоркие глаза по разному видели волны и острова и по-своему ощущали силу ветра.

Сразу же, оставив шаланды, они бежали на луговину и приводили сюда Исаику. И странное дело. Хорошо зная друг друга, столкнувшись на луговине, они находили каждого несколько иным и чуть-чуть незнакомым. Пристально рассматривая собравшихся, они втайне завидовали чужому поостревшему взгляду, чужому лицу, обожженному водой и солнцем, широким ладоням, ставшим приятно твердыми и шершавыми. Замечая такую перемену только в другом, они не предполагали, что все они приходят с моря несколько иными, с более широкой и крепкой грудью. Не догадываясь об этом, они испытывающие изучали друг друга, ревниво любуясь чужими мозолями.

Жалким среди этих здоровяков казался Исаик. Худой, узкогрудый, с тонкими и слабыми ногами он выглядел тут совсем чужим. Но так казалось только со стороны. На самом деле он был здесь и родным и нужным, а, главное, близким всем этим молодым рыбакам, уже прекрасно знающим цену собственной силе.

Простые и грубоватые между собой, они с удивительной мягкостью относились к Исаику. Ни словом, ни жестом не напоминали они ему о его болезни, о непонятной боязни перед водой. И зная, как он любит слушать о море, об играющих волнах и о бесконечной светлой дороге, которую протягивает ночная луна по Каспию, они охотно и долго рассказывали обо всем этом. Исаика сидел, полузакрыв глаза. Запах соли, моря и свежей рыбы, еще не выветрившийся из курток молодых рыбаков заставлял его вздрагивать. Иногда Исаика не мог не удержаться, чтобы не потрогать и не погладить кожу тяжелых бахил, в которых ходили его друзья. Эти бахилы, переданные детям отцами, уже истоптанные и латаные, Исаике казались самой прекрасной обувью, какую только мог придумать человек. И вместе с тем, именно эти бахилы его огорчали. Исаика знал, что передача сыну старых рыбакских бахил служит как бы признанием за подростком права на отцовский промысел, как бы вступлением в тот возраст, когда подросток перестает быть мальчиком. Вслед за этим, через какое-то время, должны следовать настоящие новые бахилы и тогда юноша уже терял право на детские забавы: он становился мужчиной.

Ожидание этого пугало Исаику. Он чувствовал, что тогда он, калека, останется совсем одиноким и уже никому не нужным.

И этот день наступил. Первым на Исадскую луговину в новых бахилах пришел Митя. Бахилы были по ноге и в них Митя выглядел другим и необыкновенно красивым. Сам Митя шел спокойно и как будто вяло, но все знали, что сердце его замирает от счастья. Дело было не в сапогах. Счастье было в том, что этими новыми бахилами старые

рыбаки признавали за Митей право вмешиваться в их разговор и сказать свое собственное слово.

А потом и другие пришли в новых бахилах и, наконец, все сверстники Исаики превратились в настоящих рыбаков, окончательно разорвавших с луговиной.

Мир опустел... Так казалось Исаике, и думалось, что в этом опустевшем мире для него уже нет места. Иногда тяжесть горького одиночества была настолько сильной, что Исаика не выдерживал и шел к Исадской луговине. Он шел со смутной надеждой, что другое поколение подростков, к которому он уже не принадлежал, примет его к себе. Ведь ему так мало нужно: сидеть и слушать. И он подходил к луговине, останавливался издали, тоскливо смотрел на веселых оживленных ребят, надеялся, что они окликнут его, позовут, примут в свой круг. Часами так стоял он и, не дождавшись теплого слова, уходил.

Однажды он не выдержал и вплотную приблизился к кружку сидящих. Его жалкая фигура была воплощением просьбы.

Сидящие хорошо знали Исаику, но сразу, как только он подошел, все угрюмо замолчали. Дети своих отцов, они невольно подчинялись традициям и отойти от них не могли и не хотели. Они заняли место тех, кто уже вырос, одел бахилы и ушел в море. Это место теперь принадлежит им. Придет время, они уступят его другим. Это неписанный закон и поступиться им они не желали. В Исаике они видели чужого, человека прошлого поколения, утратившего право на луговину. И поэтому они встретили его молчаливой враждой.

Никогда Исаика не чувствовал себя таким лишним и несчастным. Поняв, что здесь он окончательно чужой, Исаика повернулся и без цели двинулся к пескам. Тяжело шагая, он не замечал, как текли слезы по его холодной щеке.

После этого он никогда больше не ходил к луговине. Но его сверстники, уже нашедшие свое место на шаландах и парусниках, не забывали его. Возвращаясь с пущины, они прибегали к нему, торопливо рассказывали о себе, о ветре, о рыбе и море.

— Исаика, — однажды с гордостью сказал Митя. — Ты знаешь: я теперь вторым кормовым...

— Ой! — простонал Исаика. — Рассказывай...

Митя говорил об островах, о людях, о волнах. Исаика восторженно слушал, рассматривая своего друга, радуясь его умению угадывать погоду по тяжести воздуха и по полету чайки. О больших чудесах рассказывал Митя, а Исаика, скав руки, чувствовал, как в его груди тоскливо бьется маленькое, больное сердце.

— Митя, — со слезами спросил Исаика. — Митенька, ты меня никогда не бросишь?

— Что ты, Исаюшка? Ты, ведь, мой побратимка... Да разве ж можно тебя такого бросить...

— Митенька... Не бросай меня. Всегда мне рассказывай обо всем... Я тебя поджидаю каждый час и прошу святого Николу оберечь тебя...

Митя удивлялся, насколько Исаика живет жизнью моря и рыбаков. А тут еще и сам Исаика, сначала застенчиво, потом все откровеннее и откровеннее начал рассказывать свои сны. Эти сны были заполнены шумом волн, скрипом мачт, игрой облаков... И паруса... Парусами, казалось, открывались и закрывались исайкины сны. Паруса просто,

паруса, над которыми пролетали чайки, паруса, розовые в закате солнца. Паруса, ждущие ветра...

И только позже понял Митя, что так оно и должно быть, что в снах этих говорит исайкина кровь, принявшая в себя капельку старой, престарой крови дедов и прадедов, вечных каспийских рыбаков. Пораженный этой простой мыслью и чужими яркими видениями, сказал Митя:

— Слушай, Исайка! Пойдем к берегу... Там сейчас сохнут невода и на отмели стоит моя шаланда... я покажу тебе... Идем, Исаюшка, перебори себя. Ты увидишь то самое море, которое снится тебе... паруса ты увидишь...

Долго не сдавался Исайка. Глядя в ту сторону, где было море, он отталкивал Митю, прижимал тонкие руки к груди и слушал свое тревожно бьющееся сердце. А потом пошел... Митя радовался, говорил о том, как ласково набегают на песок волны и как они тихо уходят, оставляя после себя пенный след. Исайка слушал, и ему казалось, что этот ласковый и понятный шорох уже где-то и когда-то был в его жизни, и еще немножко, вот каких-нибудь пятьсот шагов, все вернется и все станет прежним. Это обрадовало Исайку. Он даже начал торопиться, как будто боясь опоздать...

И вдруг впереди засинела вода. Как зачарованный остановился Исайка перед большим морем и постепенно старый ужас холодом заполнил его больную грудь...

— Митя! Митя! — закричал он. — Не могу... не надо...

Митя просил, уговаривал. А потом, шутя, решил нести его к морю. Это было совсем легко. Но когда он случайно взглянул на лицо Исайки и увидел застывшие, безумные глаза, опустил он его на песок и сам пошел к берегу. Потом он оглянулся и долго смотрел на жалкую фибурку, медленно бредущую к поселку...

7.

Митя об этом никому не рассказал. Но когда шаланды опять ушли в море, он глубоко вздохнул:

— Эх... вот и остался Исайка совсем один... Мы бежим по Каспию, а он ходит по песку... Нету счастья у человека... Как подумаю об этом, так в душе прошу: возьми, Господи, половину моей силы, Ты, ведь, сам мне на двоих дал! И ту, вторую половину, перенеси на Исайку. И от страха его избавь, и посади его с нами под паруса... потому сын он рыбакский и весь наш...

А в это время Исайка, бродя по пескам, наткнулся на старииков, которые не спеша, с длинными разговорами о былом, собирали новые шаланды и дощаники. У старииков — несчитанные часы. Постучав молотками, они усаживались на смолой пахнущие доски и вели беседу о сынах и внуках, ушедших в море.

Робко подошел Исайка к стариикам. Они ласково встретили его и Исайку сразу ожили. Он как будто нашел потерянное. Старики заменили былью луговину, и среди них он уже не чувствовал одиночества и своей

ненужности. А чтобы доказать это и другим, он, стыдясь своего слабо-сияния, убирал щепки и стружки со сланей или возился над погнувшимся гвоздем.

Старики постепенно так привыкли к Исаику, что стоило ему запоздать, как они оглядывались по сторонам и спрашивали:

— С чего бы такое Исаики нет?

— Вон, вон идет, — отвечал более зоркий и кричал: — Давай, Исаика, костер разводи, котел пристраивай . . .

Исаика деловито копался у огня, внохивался в крепкий запах начинаяющей закипать смолы. Забыв о своем убожестве, он часами наблюдал, как умело обшиваются кокоры крепкими вершковыми досками, еще сохранившими в себе дух живого северного леса. И думал о том, что эти шаланды и дощаники скоро лягут на воду и побегут по Каспию.

В особенности любил Исаика дни, когда старики заканчивали отделку шаланды. Тогда они засветло уходили домой и Исаика оставался один. Приткнувшись к борту неоконченной лодки, он сразу переносился в какой-то новый мир.

Запах остывшей, впитавшейся в дерево смолы смутно тревожил Исаику. Поднимались воспоминания из какой-то, давным-давно отошедшей жизни, мелькали обрывки полуза забытых снов и, наконец, вдали отдвигались и постепенно исчезали находящиеся перед ним пески. Взамен этого что-то синее приближалось, принимая знакомые линии и формы. Еще немного, и Исаика видел игру мягких волн, чувствовал под собой дрожь палубы и улыбался бьющему в лицо каспийскому ветру. С ветром прилетала радость настоящей жизни. Исаика сильными руками ощущал уверенность счастей и знал, что перед ним родное море и вон там, у горизонта, вырисовываются очертания Тюленевых островов. Закинув голову, счастливо смеялся Исаика, локтем чувствуя крепкого и стройного Митя, у которого тоже сильные руки, умеющие поворачивать тяжелый руль . . .

Но надвигался вечер, и со стороны моря шла темнота. С темнотой приползала сырость. Сырость гасила пламень вдохновения. Толчком испуга приходил в себя Исаика, сквозь слезы смотрел на пески и холодные угли давно погасшего костра . . . Потом вяло поднимался с еще сохранившего в себе солнечное тепло песка и, бессильно опустив руки, брел к дому . . .

8.

Возвращающиеся с моря рыбаки однажды совершенно случайно заметили Исаику, сидевшего у затухшего костра. Бледный, крепко сжавший руки, с закрытыми глазами, он, казалось, прислушивался к чему-то далекому.

Рыбаки хотели было окликнуть Исаику.

— Не надо, братцы . . . — сказал Митя.

А позже, когда уже далеко был и костер, и сидящий около него Исаика, Митя остановился.

— Видели, как мучится Исаика? Идем, ребята, к Пал Пальгчу . . .

пусть возьмет его в Кутум... Мы, ведь, гости там стальные и всегда будем встречаться с Исаикой... Ему вот-как легче станет...

Шумной ватагой направились они в Кутум, даже не заходя домой. И удивились до чего легко согласился Пал Палыч.

— А что ж? — сказал хозяин трактира. — Пусть. У меня как-раз один ушел...

Таким образом стал Исаика половым в Кутуме. С тех пор дни его были заполнены ожиданием. Радуясь приходу друзей, он со счастливым волнением провожал их в путь а потом оставался с мечтой, представляя себе, как они опять ввалится в трактир, загрохочут барабанами, все заполнят запахом морского ветра и соли. И закричат:

— Исаика, друг-рыбачок любезный!

Эти слова были подлинным счастьем. Исаика вспыхивал радостью от боли крепкого рукопожатия и торопливо рассаживал гостей. В такие минуты он казался хозяином, принимающим гостей в своей полной и богатой избе. Видимо, он и сам думал, что они его гости, близкие и родные, давно поджидаемые. И не обижался, если подгулявшие друзья загораживали ему ход крепкими ногами, обутыми в непромокаемые бахилы из ошашковской сальной юфти. Не обижался, если чья-то сильная рука прижимала его, стаскивала с подноса то, что предназначалось для другого конца трактира.

— Давай сюда, Исаика... там твои гости подождут. Ты, ведь, наш...

— Ваш, ваш... — радостно соглашался Исаика и успокаивающее кивал в сторону тех, кому он так и не донес пиво или полуштоф.

В путины рыбаки бывали богаты. А в другое время, когда кончался весенний лов, у рыбаков случался «штиль» и даже медяки редко бренчали в карманах. Но и тогда они заглядывали в Кутум. Войдя в трактир, они здоровались с Исаикой и, стоя, расспрашивали, как он живает, что нового, здоров ли Пал Палыч. Исаика знал, к чему это клонится, но установившийся этикет требовал выдержать тон. Он отвечал на все вопросы, сам что-то говорил и потом, как будто спохватившись, удивлялся:

— Да чего же вы стоите? Садитесь, рыбачки, тут вам не палуба...

Кое-кто застенчиво садился, а Митя выступал посредником:

— Мертвая вода нынче стоит, Исаий Исаич... Штиль, можно сказать...

Как будто не расслышав, Исаика спрашивал:

— Жигулевского, что ли?

Митя ловил Исаику за руку, тянул его к себе:

— Штиль, можно сказать, Исаий Исаич... Сооруди, голубок, на артель...

— Митя! Рыбачки... Да Господи! — задыхался от радости Исаика, убегал к стойке, выбирал закуску и устанавливал все на столе.

Таким «штилевым днем» Исаика радовался искренне, потому что в это время на самом деле чувствовал себя хозяином, принимающим дорогих гостей. Угощая, он часто присаживался около стола и всматривался в такие знакомые лица.

— Закусывайте, миленькие... До чего сегодня хорошо, — в умиление говорил он и гладил митину руку.

— Душа ты человек, — прижал к себе Исаику Митя. — Бедный ты мой, Исаюшка.

В один такой спокойный день завернули в Кутум бояки из порта. Верховодил ими знаменитый скандалист и поножовщик Ленька Мокрый. Для чего они пришли, что им было здесь нужно, в рыбакском трактире, трудно сказать. Но все они, уже полуляные, сразу зашумели:

— Эй, ты, рыжий дьявол! Тащи сюда...

Исайка встал из-за стола и подал им пиво. Но бояки, видимо, искали случая поскандалить и начали с насмешливой пристальностью рассматривать Исайку. Заметив это, Митя позвал:

— Исай Исаич, ходи сюда!

Исайка повернулся, но Мокрый грубо рванул его за рукав и крикнул:

— Эй, ты... Кусай Исаич! Тащи нам рыбец... рыжий подлец!

Никогда и никто так не обижал Исайку. Он задохнулся, беспомощно поднял свои руки к лицу и застыл в потерянности. Громко разговаривавшие рыбаки вдруг замолчали. В сразу наступившей тишине предостерегающе грохнул опрокинутый табурет: Митя вскочил из-за стола. Широкий и высокий, гремя железом подков, он молча подошел к боякам. С трудом переведя дыхание, он как-то по-незнакомому прописал:

— Ты кого трогаешь?

Бояки захохотали, показывая пальцами на Митю. Ленька Мокрый, презрительно улыбаясь, насмешливо сказал:

— Ну, ты... селедка прелая... Отойди, а то башку отвинчу...

Больше он ничего не успел сказать. Митя наотмашь ударил и сразу трое полетели в разные стороны. Остальные вскочили и в их руках блеснули ножи и пивные бутылки. Митя схватил подвернувшегося бояка, завертел вокруг себя, а потом швырнул его в поднимающегося с полу Мокрого.

Растерянный, дрожащий стоял Исайка, совсем не причастный к драке. И в тот момент, когда все уже казалось законченным, он увидел, как один из бояков занес финку над спиной Мити. Ни о чем не размышляя, с жалобным вскриком бросился Исайка навстречу ножу и упал, обливаясь кровью...

9.

Только осенью вернулся Исайка из больницы и опять появился в Кутуме. Пал Палыч осмотрел его, покрутил головой и одобрительно крякнул:

— Ничего... спитый парус дольше живет...

И все пошло по-старому. Правда, иногда кой-кто говорил Мите:

— А что, Митя, не плавать бы тебе больше, если бы не Исайка...

Митя и сам об этом часто думал, но у него не было нужных слов, чтобы выразить мысли и раскрыть свое чувство, совершенно новое и очень большое. Это чувство родилось не потому, что Исайка спас ему жизнь. В море тот или другой спасает соседа и это делается очень просто и всеми воспринимается естественно, как дружеское рукопожатие.

Случай же с Исаикой не укладывался в обычные установившиеся представления. И поэтому несчастный калечка, слабосильный Исаика, принявший на свою изуродованную грудь удар ножа, вдруг повернулся ко всем своей новой светлой стороной, тайна которой не могла до конца раскрыться перед этими людьми, понимающими значение только силы.

Что tolknulo Исаику? Как случилось, что Исаика, удар которого был безвреден и ребенку, бросился спасать Митю без надежды спасти самому? Об этом часто говорили рыбаки и постепенно, не сговариваясь, признали, что в Исаике есть нечто такое, чего нет у них самих.

— А ведь, братцы, Исаика в тот день не выпил ни капли даже пива...

Эта мелочь, по-существу пустяковое обстоятельство, чрезвычайно радовало рыбаков. Если бы Исаика был пьян, его подвиг в их глазах утратил бы свою внутреннюю красоту и значительность. Все было бы грубым и обыкновенным, как взмах кулаком. Храбрость и силу сознавали очень примитивно и физически отчетливо. У Исаики не было ни того, ни другого. И поэтому они полюбили его еще больше.

Готовые теперь сделать для Исаики и во имя Исаики все, они бессознательно подхватили брошенное бояком меткое слово: Кусай Исаич, и навсегда запомнили эту кличку. С тех пор и повелось, что сами того не замечая, они все время звали Исаику Кусай Исаичем или Исаий Кусаичем. Но право так называть они оставляли только за собой. Малейшая попытка постороннего, случайного посетителя крикнуть Кусай Исаич сразу же оборачивалась крупной, физически ощущаемой неприятностью незадачливому шутнику.

Не видеть и не чувствовать всего этого не мог и сам Исаика. Если плотно приставшая кличка, повторяемая рыбаками, вначале обижала Исаику, то потом он с ней не только примирился, но даже как-то сжился. А в запрещении рыбаков кому бы то ни было пускать в ход Кусаича он видел нечто значительное, теплое, очень напоминающее материнскую руку, протянутую к обиженному ребенку...

10.

Там, где-то, бушевала революция. Здесь был другой мир и, казалось, что тут вечны морские законы и древние традиции. Но вдруг все сразу закончилось, и новое ворвалось в поселок кавалерийским отрядом, примчавшимся во главе с Ленькой Мокрым. Всадники кинулись к Кутуму и торопливо спешились около него. В широко распахнутых дверях стоял Ванька, половой из «чистой половины». Ванька сладко улыбался и встречал приехавших, как давно поджидаемых гостей.

Орава вскочила в трактир и Мокрый со злобой ударил Исаику наганом. Без крика, покорно опустился Исаика на пол.

— Где хозяин?

Ванька глазами показал на дверь в «чистую половину».

— Вон отсюда! — заорал Ленька Мокрый, увидев двух рыбаков, сидевших за крайним столиком, и бросился в соседнюю комнату. Пал

Палыч, уже сильно постаревший, сразу узнал Мокрого и испуганно поднялся. Ленька Мокрый остановился посередине комнаты и засунул руки в карманы кожаной куртки.

— Узнаешь, гад? Говори, где Митька Никитин . . .

— Митя? Откуда мне знать . . . Сын он мне, что ли?

— Говори, гадюка, я знаю, что он был тут . . .

— Быть был . . . Да где он теперь, право-слово, не знаю . . .

Мокрый схватил старика за ворот рубахи и прижал к стене.

— Говори . . . удушу!

— Да пойми ты, не знаю . . . Ну, был . . . Ну, ушел . . . маленький он, что ли . . . Вот пристал ко мне . . . Да отвяжись ты . . . Тьфу . . .

— Что? Плюнуть хочешь? Зубами плюнешь . . .

Мокрый, чуть отклонившись, с силой размахнулся и ударил. Пал Палыч опустился на скамью, покачал головой и выплюнул стусток крови. Зубы стукнули об пол.

— Скажешь?

Старик прикрыл руками разбитые губы и прошептал:

— Да чего ты пристал, окаянный . . .

— Скажешь, гадюка, — захрипел Мокрый, левой рукой сжимая горло старика, а правой вытаскивая из кармана наган. Лицо Пал Палыча посинело. Когда Мокрый замахнулся, чтобы ударить его пистолетом, старик вдруг плонул в лицо Мокрому.

Когда Пал Палыч уже не дышал, Мокрый вытер скатертью окровавленный наган и направился к выходу. Ванька шепнул:

— Митька на песках . . .

— Достану . . . — мрачно ответил Мокрый. — Пошли, ребята . . .

Выходя на улицу, Мокрый заметил лежащего на траве Исаику . . . Он с трудом дышал и его правый глаз был закрыт громадным кровоподтеком.

Мокрый посмотрел на Исаику, ухмыльнулся и спросил у всадников:

— Стрельнуть, что ли?

— Брось, сам дойдет . . .

Мокрый вскочил в седло и отряд умчался на песках Мити не было. Мокрый кинулся к старикам, стоявшим у шаланд.

— Где Митька?

Старики мрачно смотрели и молчали.

— Чего смотришь? — заревел Мокрый. — Отвечай, где Митька!

— А где ему быть? Поищи сам, да там и спрашивай, — ответил самый старый рыбак. — Тебе нужен, ты и доискивайся . . . Что, аль посчитаться хочешь? Эх, ты . . .

— Ну! — замахнулся плетью на старика Мокрый и прижал его к шаланде. — Найду, небось, тогда и посчитаюсь . . .

— Оно, конечно, есть за что . . . — проворчал старик.

Всадники поскакали в поселок. Ввалившись в дом Никитина, Мокрый без слов ударил старика.

— Где Митька?

Никитин, такой же высокий и широкий в груди, как и сын, схватил тяжелый табурет и, подняв его над головой, глухо сказал:

— Вон!

— Ах, так? — опешил Мокрый. — Ты, значит, власти сопротивляешься? Коменданту не подчиняешься?

Мокрый вытащил наган и приказал:

— А ну, бери его, ребята...

— Вон! — еще тише сказал отец Мити. — Не подходи: убью!

Спутники Мокрого нерешительно переглянулись. Мокрый шагнул к старику и выстрелил...

11.

Вечером в Кутуме комендант Мокрый гулял со своими друзьями. Прислуживал им сам Ванька, уже считавший себя полновластным хозяином трактира и подносиивший гостям самогонку.

Поселок давно спал. Только в трактире ярко горели огни и в открытые окна вырывались крики и слова пьяных песен. А в полночь вскочили рыбаки, разбуженные выстрелами. Потом поплыли тягучие удары набата: горел Кутум.

Скоро из городской комендатуры примчался конный отряд и сразу же оцепил трактир. Из горящего здания вынесли несколько трупов и тяжело раненого Мокрого.

Утром рыбаки обступили пожарище и потихоньку говорили о ночном происшествии. Никто не осуждал Митю, так рассчитавшегося за своего отца.

Во время пожара пропал и Митя. Потом обнаружилось, что в ту же ночь из поселка исчезло еще четверо рыбаков. Куда все они девались, никто не знал. Только через три недели стало известно, что Митя с рыбаками скрывается на Тюленевых островах, к которым верные люди подвели шаланду, чтобы могли они уйти в Персию.

И вдруг в один день, перед самым заходом солнца, рыбаков согнали по изbam, приказали никуда не отлучаться и сидеть дома. Мальчишки рассказывали, что у всех причалов поставлена охрана и весь рыбацкий поселок оцеплен.

Все поняли, что кто-то донес и теперь Мите придет конец. Уже стало известно, что утром чекисты-каретели пойдут к островам. Об этом толковали рыбаки, собиравшиеся на задворках, и печально говорили:

— Конец... некому упредить Митю...

Тут же находился и оправившийся от побоев Исайка. Один из стариков сказал ему ласково:

— Вот, Исайка, конец твоему побратиму пришел...

Исайка молчал. Потом не выдержал, начал говорить, что невмоготу ему теперь здесь быть.

— Пойду я прочь отсюда... Нечего мне тут делать... Я уж, старики, пойду...

— Да ты погоди, — уговаривали его. — Потом пойдешь. Вот снимут охрану, ну тогда иди с Богом, Исаюшка... И впрямь ты уже теперь лишний...

— Нет, — ответил Исайка. — Я сейчас пойду...

— А что ж... Иди... Кто такого убогого и задерживать будет? Такой им тоже не нужен...

И рыбаки с любопытством смотрели, как худой и уже слегка поседевший Исаика направился к выходу из поселка. Все видели, как часовой остановил его и что-то кричал, размахивая винтовкой. Потом из соседней избы выбежал другой, при пистолете. Охранники внимательно осмотрели Исаику, рассмеялись, махнули презрительно рукой и Исаика вышел из поселка. Двигался он по дороге, ведущей к городу и скоро исчез за поворотом.

Когда Исаика скрылся из виду, старик, который посоветовал ему идти с Богом, покачал головой:

— Вот и Исаики нету... Был у нас Исаика и нету Исаики... И Мити нету... а ведь побратимы они были...

А потом, уже к полуночи, из избы в избу передавали слух, что кто-то в темноте угнал лодку, стоявшую в стороне от причала. Кто угнал лодку? Об этом даже часовой из карателей не мог сказать, так как пропажа обнаружилась только при сдаче постов.

И уже совсем ночью по изbam пошли люди в кожанках, при винтовках и пистолетах, и проверяли, кого не было дома. Все были на месте, и это внесло еще большую тревогу.

— Может, из баб которая ушла в море? — строили догадки рыбаки, и уже сами, как бы желая убедиться в чем-то очень важном, пошли по изbam.

Пусть и маленький парусок на той лодке, но и под таким поруском бегали к ближайшим островам. Кто-то даже вспомнил, что в по-запрошлом году именно на такой лодке ходили люди до самых Кулалы. Говорили обо всем этом, а затаенное не высказывали, не хотели раскрывать перед другими свою маленькую надежду, что кто-то и теперь попал на Тюленьи острова. А там Митя...

И вдруг неожиданно, как бы спохватившись, вспомнили об Исаике.

— Братцы... а ведь Исаика ушел днем... Может...

И хотя многие думали об этом, но сразу же все замахали руками, даже засмеялись:

— Да что вы мелете... что б наш убогий...

— О чём говорите: Исаика и в лодке...

И опять рассказывали давным-давно известное каждому, что Исаику и пьяного нельзя было привести к воде.

— Болезнь у него такая... Его посади в баркас, да тронься в море, так он со страху тут же и кончится... Ведь горемычный он такой с детства... Куда уж тут...

Вся его прошлая жизнь, все эти двадцать лет с тех пор, как разбился о камень итонул Исаика, прошли перед глазами рыбаков и окончательно убедили, что никакая сила не может его толкнуть в лодку. Это было совершенно ясно, и все же не хотелось этому верить до конца, не хотелось губить последнюю надежду на спасение Мити. Никого бы не удивило, если бы Исаика вот сейчас вернулся в поселок. И вместе с тем это возможное возвращение, если бы оно произошло, поразило бы всех, как будто Исаика кому-то давал слово сделать что-то хорошее и не сделал, всех обманув...

А Исаика, выйдя из поселка, направился к городу. Потом, сам не зная для чего, повернул к пескам, подошел к зарослям тальника и

сел между кустами. Когда наступили сумерки, он пододвинулся к берегу и радовался, что по небу без конца и краю ползли тяжелые тучи.

Постепенно приблизившись к причалу, он затаился в кустах и испуганно глядел на черную полосу моря, не понимая, какая сила привела его сюда. И уже в темноте, прислушиваясь к далекому шороху волн, силился разгадать, для чего он тут?

Не получив ответа на свои вопросы, он все же чувствовал, что ему надо быть здесь. И он упрямо сидел в темноте и единственное, что его тревожило, была боязнь, что могут разойтись тучи, выпустить полную луну и блеском ее залить большое, страшное море. Исайке казалось, что этого он не сможет выдержать, закроет глаза и побежит назад.

Но тучи опустились еще ниже. В сгустившейся черноте четко вырисовывался небольшой костер у причала. Около огня иногда останавливался часовой.

Исайка не имел представления, сколько времени прошло с тех пор, как он притаился в этих прибрежных кустах. Он об этом не думал, весь уйдя в неосознанное ожидание чего-то, что обязательно должно случиться. И поэтому раздавшиеся вдалеке голоса заставили его слегка приподняться и прислушаться. Ему показалось, что толчками бьющееся сердце заглушает звуки. Исайка плотно прижал локти к бокам. Это помогло. Голоса приближались и скоро к костру подошли два охранника.

— Идем к моему причалу ... там самогонку принесли...

— Ну... а вдруг проверка?

Почему-то этот отказ страшно взволновал Исайку, как будто бы нарушая его твердые планы.

Исайка ожидал. Он так пристально всматривался в темноту, как будто хотел увидеть лица разговаривающих, по их выражению разгадать чужие замыслы и планы.

Когда часовые сапогами стали затаптывать костер, Исайка вздохнул облегченно и даже одобрительно закачал головой.

Часовые еще некоторое время постояли, потом чему-то рассмеялись и пропали в темноте. И уже совсем вдали раздался звон металла. Исайка понял, что идущие рядом столкнулись винтовками.

Потом все затихло. Вытянув тонкую шею, Исайка еще долго смотрел в ту сторону, куда направились каратели. Разглядеть в темноте он ничего не мог, но ему казалось, что он совершенно правильно отсчитывает шаги идущих, и в тот момент, когда он сам себе сказал «готово», у следующего причала ярко вспыхнул огонь. Значит, к причалу подошли эти двое и подбросили в костер сухой тальник и корни.

Исайка поднялся. Некоторое время он нерешительно мял свои тонкие пальцы, как будто стараясь что-то припомнить. Потом вышел из кустов и осторожно, словно боясь споткнуться, направился к берегу. Чем дальше он шел, тем больше ему казалось, что он приближается к чему-то холодному и очень неуютному. Это ощущение, все усиливаясь, начиналось подмышками. Холод полз по рукам, опускался к ногам и, наконец, Исайке почудилось, что его рубаха стала ломкой и холодной, как вывшенное зимой стиранное белье.

И вдруг Исайка услышал странный шорох, очень похожий на ночной шелест осенних, желтых листьев, гонимых ветром по сухой зем-

ле. Исаика задрожал и остановился. Потом ему показалось, что в темноте, совсем близко от него, зашевелилась черная вода, подняла волны и с грохотом толкнула их вперед, чтобы уже окончательно и навсегда прижать его к подводному камню.

Исаика не выдержал, бросился назад, к кустам, и вот тут он совершенно отчетливо слышал, как следом за ним стремительно неслась волны. И вдруг, покрывая грохот разбивающихся волн, всю темноту ночи заполнил крик:

— Исаика...

Сразу наступила удивительно прозрачная тишина. Родной и близкий голос остановил Исаику. Тяжело дыша, он оглянулся, стараясь руками успокоить рвущееся из груди сердце.

Темнота притаилась, как будто ожидая, что теперь скажет Исаика. Он и сам подумал, что надо что-то ответить, но не нашел нужных слов и решительно направился к морю. Сделав несколько шагов, он опять услышал прежний шорох и остановился. Шорох сразу прекратился. Исаика шагнул вперед и прямо перед собой увидел черную воду, а сбоку слегка сереющий песок.

Исаика стоял у самой воды. Иногда она тихо накатывалась, заливала ноги, а потом, шурша, отодвигалась, как бы приглашая следовать за собой. Но он еще некоторое время чутко прислушивался, надеясь вновь услышать близкий и родной призыв.

Ночь молчала. Исаика, увязая в мокром песке, пошел влево, чуть в сторону от причала. Он два или три раза останавливался и, наконец, пригнувшись к воде, рассмотрел очертания лодки. Она находилась шагах в тридцати от берега, стояла на мели, у прикола.

Исаика прикинул направление и, закрыв глаза, двинулся к лодке. Вода, вначале не достигавшая и до колен, постепенно поднималась. Сжав зубы, Исаика шел и шел, и ему уже стало казаться, что он бредет в воде вечно и никогда из нее не выйдет. Но в тот момент, когда вода была уже выше пояса, он неожиданно наткнулся на что-то твердое и судорожно ухватился за борт. С трудом взобравшись на лодку, Исаика почувствовал острую боль в челюстях. Пытаясь разобраться, в чем тут дело, он вспомнил, что давным-давно, сделав первый шаг в воду, он сжал зубы. Челюсти омертвили. Преодолев резкую боль, он с трудом раскрыл рот и с удивлением прислушивался, как кровь толчками приливалась к голове.

Когда челюсти перестали ныть, Исаика сделал шаг вперед. Лодка качнулась. Исаика в испуге замер, но почему-то вдруг и неожиданно подумал о парусе и сразу успокоился. Потом он взялся за мачту, выправил рейку и стал поднимать парус. Парус был небольшой, но Исаика чуть было не заплакал. Ему показалось, что парус тяжел и с ним нельзя справиться. Но застрявший было шкот соскользнул и косой парус выравнялся и свободно заплескался на легком ветру.

Как только Исаика освободил лодку от прикола, она, медленно отбиваемая ветром от берега, двинулась в море. Исаика с искренним изумлением заметил, что столб, у которого лодка была привязана быстро исчез в темноте.

Выправив парус, взяв в руки шкот, Исаика сел у руля. Он знал, что бежать на Тюлены острова надо, поставив корму к причалу, а нос лодки на край отмели. Так он и сделал, и когда миновал косу, два раза

tronув песок килем, подумал, что при таком ветре, днем, к островам можно попасть часов через пять. Правда, в темноте была опасность не заметить вовремя островов и проскочить мимо них. Но об этом Исаика теперь не думал, а дальше все делал совершенно машинально, как бы направляемый чьей-то чужой и решительной волей. Казалось, все его чувства умерли, даже страх перед морем пропал, и он уже не слышал, как вдоль бортов струится вода.

Сделав более половины пути, Исаика вдруг вспомнил недавний призыв, заглушивший рокот несущихся по песку волн. Представив себе все, недавно случившееся на берегу, Исаика не мог понять, откуда и как пришел этот зов. Но зов был, он его слышал. В этом Исаика не сомневался.

На востоке чуть-чуть серело. И тут как-то сразу разорвались облака и меж ними неожиданно и удивительно ярко проглянула полная луна. Небольшие волны, в темноте такие простые, вдруг начали разваливаться светящимися кусками, устилая ими колеблющуюся, бегущую вдаль, серебряную дорогу.

Исаика увидел море. Море, которое жило в его воображении, море, которое приходило к нему во снах. С морем вернулся старый, непонятный ужас перед водой. Задрожав, Исаика оставил руль, упал на дно лодки, бился в конвульсиях, оплетая голову своими бессильными, трусивыми руками.

Недавно красиво изогнутый ветром парус беспомощно и жалко захлопал, как большая птица перебитыми белыми крыльями. Лодка нерешительно закачалась на серебряной дороге.

Сколько времени пролежал Исаика на дне лодки, он и сам не знал. Он не мог поднять голову и молчал, как приговоренный, потерявший всякую надежду на спасение. Ему казалось, что вокруг него уже давным-давно стеной стоит вода, стоит и ждет какой-то минуты. Эта минута приближалась. Уже где-то вдали наростало непонятное движение и шум, который и должен был принести конец.

В тот момент, когда лодка резко накренилась и черпнула бортом холодную воду, откуда-то издали, ровно и повелительно опять прозвучало:

— Исаика...

Исаика вздрогнул и втянул голову в плечи. Потом неуверенно приподнялся и застывшими, широко открытыми глазами посмотрел на пляшущую воду.

И уже сам не понимая, как это случилось, он поймал руками шкот и почувствовав его сопротивление, страстно захотел увидеть наполненный ветром парус. Вначале он не мог справиться. Сверкающие в лунном сиянии линии паруса ломались на фоне черного неба, отказывались подчиняться. И когда Исаика уже начал терять надежду и готов был вновь упасть в бессилии на дно лодки, нижняя рея застыла под прямым углом к килю. Собрав последние силы, Исаика набрал на себя шкот и парус удивительно просто поймал ветер. Лодку сразу же перестало бросать с борта на борт и она быстро понеслась вперед.

Исаика глубоко вздохнул и трясущимися руками закрепил шкот. Но тут же пришла тревога, что может быть Тюлены острова уже остались в стороне. Тревога была вызвана тем, что приближался рассвет. Исаика попробовал подсчитать, сколько времени он уже на воде. Вы-

ходило очень много, гораздо больше того, что требовалось для пути от берега до островов.

Но Исаика не знал, что он, пораженный страхом перед освещенным луной морем, пролежал на дне лодки на мгновение, как ему казалось, а несколько часов. И хотя он уже был уверен, что острова остались где-то в стороне, слева, он все же с непонятной настойчивостью держался раз взятого направления. К тому же ветер усилился и теперь лодка шла так быстро, как будто сама торопилась обогнать все волны.

И вдруг, в посветлевшем воздухе, Исаика увидел контуры острова и невдалеке от него покачивающуюся шаланду. Паруса на шаланде были уbraneы.

Не подумав даже о том, что при приближении к земле надо ослабить парус, Исаика проскользнул мимо темной тяжелой шаланды. Уже несколько раз дно лодки резнуло по песку отмели, но и на это Исаика не обратил внимания, впившись глазами в несущийся навстречу пологий берег. Наконец, лодка врезалась в песок, вздрогнула в недоумении и легла на левый борт. Парус, постепенно намокая, прижался ко дну.

От кустов бежали люди.

— Исаика! — крикнул Митя.

В звуке этого голоса был тот же самый призыв, который Исаика сегодня слышал уже дважды. Потрясенный этим, он пошатнулся и упал бы в воду, если бы его не подхватили и не вынесли на берег . . .

12.

Ванька, бывший половой трактира Кутум, внимательно прислушивавшийся и зорко наблюдавший за всем, происходившим в поселке, к вечеру сделал вывод, что лодку мог угнать только Исаика. Хорошо зная, что никакая сила не заставит его идти к морю, Ванька все же уверовал в правильность своей догадки.

Каратели встретили Ваньку смехом. Потом, поддавшись его уговорам, а, главное, смущенные рассказами о любви Исаики к Мите, комендант поселка распорядился взять фонари и пойти к береговым причалам.

И тут они убедились, что Ванька прав. Сразу же обнаружили следы на сырому песке среди тальника. Следы были маленькие, оставленные ботинками, которых не носили рыбаки. Продолжая идти по следам, нашли и то место, откуда была угнана лодка.

Из комендатуры в город помчался верховой. А через два часа, уже после полуночи, по улицам поселка проскакал кавалерийский отряд.

Ворвавшийся в избу Ленька Мокрый разразился руганью:

— Упустили, гады! — орал он на коменданта, — сволочей вас тут столько, а не могли укараулить . . . Готовь шаланды . . .

Перепуганный и чувствующий себя виноватым комендант робко прошептал, что комендантская команда может только на конях скакать, а с шаландами им не приходилось управляться.

Мокрый с остервенением стукнул кулаком по столу:

— Стариков выгнать на посуду. Немедля! Я буду ждать у причалов...

Комендантский взвод кинулся по избам, с проклятиями и угрозой поднимал стариков и велел собираться в путь.

Ленька Мокрый уже давно стоял у причалов и, ожесточенно ругаясь, ходил взад и вперед. Увидя приближающихся стариков, он бросился к ним и приказал сейчас же готовить шаланды.

— Да куда ты, товарищ Мокрый, на ночь глядя? — попытался было запротестовать один из рыбаков.

Стоящий у костра Мокрый быстро повернулся.

— Ты у меня поговори, гадюка! Готовь посуду...

А когда все уже было готово, приказал:

— На Тюлены острова...

У стариков екнуло сердце. Как ни меддили, а все же пришлось поднимать паруса, и три шаланды, переполненные вооруженными карателями, направились на юго-восток...

А в это время Исаика все рассказал Мите и его друзьям и, задыхаясь, просил их торопиться и скорее сниматься с якоря. Когда Исаика замолчал, Митя оглядел уже посветлевшее море и сказал:

— Ну, ребята, настал час трогаться...

Вброд стали сносить вещи на шаланду. Исаика сидел у потухшего костра.

— Готово, — подошел Митя к Исаике. — Вот уйдем, Исаика, к чужим людям. И ты с нами... Мы теперь с тобой, Исаюшка, на веки-вечные...

Исаика молчал, опустив голову на колени.

— Ладно, Исаика, — утешал Митя. — Не кручинься... Посиди... Я скоро приду, вот только погрузимся...

Когда паруса были подняты, Митя вернулся к костру и около него не нашел Исаики. Митя побежал по берегу, кинулся к кустарникам, вышел к песчаной косе.

— Исаика!

Пришли еще два рыбака и тоже стали искать.

Исаика слушал зов Мити, лежа среди кустарников, прижимаясь лицом к остывшему за ночь песку. Был момент, когда ему захотелось отозваться, крикнуть. Но он не крикнул. Лежа, он дрожал, и перед ним вспыхивали и гасли, и опять вспыхивали картины ночного страшного моря и сверкающих волн. Потом, когда совсем близко раздался голос Мити, с Исаикой произошел припадок: он начал загребать песок скрюченными пальцами, как будто пытался спрятать в землю свое слабое тело.

— Исаика!

Исаика охватил голову руками и слегка приподнялся, как будто собираясь встать. И вдруг воздух разорвался звуком выстрела. Исаика опять прижался к земле. Потом все стихло. Исаика продолжал лежать без движения и даже не заметил, как взошло солнце.

Исаика не знал, что выстрел был произведен с шаланды: так вызывали Митю назад, потому что у края неба появились три быстро растущие точки.

Он лежал тихо, и только когда сильно припекло солнце, передвинулся в глубь кустов. Не знал он, что уже давным-давно скрылась ша-

ланда Мити и что вслед за ней мимо острова прошла погоня.

После полудня Исаика впал в забытье. Как долго оно продолжалось, он не имел представления, но совсем неожиданно услышал выстрелы и крики. Вначале Исаика подумал, что это шумят митинцы люди. Потом он поднял голову и увидел над собой двоих с наганами в руках. Исаика не испугался.

— Сюда! — закричал один из подошедших. — Давай сюда!

Впереди всех, ломая кусты, бежал Ленька Мокрый. Заметив покорно сидящего Исаику, он как будто обрадовался неожиданной встрече и захочотал. Потом, перекосив в злобе лицо, бросился к Исаику и ударом сапога свалил его на песок.

— Аах... — тихо вздохнул Исаика и откинулся на спину.

— Аах... Исаюшка... — захлебываясь хрипел Ленька Мокрый и топтал его ногами. — Рассчитаемся...

Когда изуродованный, со сломаной правой рукой и распухшим лицом, Исаика пришел в себя, он сразу же увидел, что лежит на берегу, у самой воды. Задрожав от ужаса, забыв о боли, он пополз к кустам и рядом с ним волочилась мертвая, перебитая рука.

— Стой! Стой! — кричал Мокрый. — Стой, гад! Застрелию...

Но Исаика не останавливался. Перестал он ползти только тогда, когда один из карателей со смехом наступил на его шею.

Потом подошел Мокрый и сапогом отбросил переломанную руку Исаики. Нагнувшись, Мокрый спросил:

— Ты, гад, упредил Митьку? Говори...

Набившийся в рот песок мешал Исаике говорить. Сделав несколько глотательных движений, он, наконец, качнул головой:

— Я...

— Кто научил тебя?

— Никто... я сам...

— Врешь, гад. Ты воды боишься, как бешеная собака... Говори, кто научил? Не то все кости переломаю...

Древний старик-рыбак, кормовой с шаланды, подошел к Мокрому:

— Да вы что, товарищ? Вы лучше Митьку ловите... чего измываешься над божьим убогим...

Мокрый толкнул старика:

— Уйди, тебе говорят... Не твое дело. И до вас доберусь... Говори, Исаика, кто научил? Кто послал тебя упредить Митьку?

Исаика слегка приподнялся и криво сел. И начал быстро-быстро говорить, опустив голову и глядя на свою переломанную, уродливо подвернутую руку. Стоящие рядом вслушивались в его слова и ничего не могли понять.

Речь Исаики была похожа на бред. Казалось, он сам питался разозраться, кто же послал его на острова. По устремленным в одну точку глазам было видно, что мозг его работал усиленно, но главное и нужное ускользало и не давалось. Наконец, Исаика почувствовал, как что-то теплое коснулось его сознания и сразу все стало ясным. Посветлевшими глазами он посмотрел на Мокрого, потом медленно поднял здоровую руку и пальцами осторожно прикрыл рот, как будто стараясь удержаться и чего-то не сказать. Затем он улыбнулся странной, расплывающейся улыбкой и чуть-чуть отняв руку от лица, всеми пальцами, как это делают очень маленькие дети, поманил к себе Мокрого.

Мокрый невольно наклонился и Исайка, все так же непонятно улыбаясь, прошептал:

— Не я сам... он меня позвал...

— Кто тебя позвал? — тихо, даже с некоторым испугом спросил Мокрый.

Исайка таинственно заморгал ресницами:

— Не я сам... он меня позвал... Митя...

— Митя? Что ты мелешь... Митя?

Как в забытьи, Исайка рассказал все. И о том, как он вышел из поселка, как повернулся на пески и спрятался в кустах. Все так же таинственно подмигивая, он говорил о костре у причала, о том, как стукнули винтовки часовых, ушедших в темноту.

— А вот когда я пришел к воде и когда за мною побежали по песку большие волны, и когда я бросился от них, тогда он позвал меня: «Исайка!» Он позвал, и я вернулся, и я вошел в воду... — Исайка задумался, как бы переживая прошлое. — Потом в море, когда лодка бежала по луне, я испугался и бросил руль, и упал на слани, и лодку стало заливать, он опять позвал меня: «Исайка!» И я встал...

Хотя светило яркое солнце, всем стало холодно и показалось, что Исайка сошел с ума.

Мокрый передернул плечами, выпрямился и сказал:

— Ладно... там разберемся... Поехали!

13.

Исайку на шаланду перенес на руках старик-кормовой. Исайка сел на палубе, привалился к борту и закрыл глаза. Грязный, несчастный, с беспомощно висящей правой рукой, он сидел так неподвижно, что казался глубоко спящим или умершим.

Около него один раз остановился Мокрый и тогда Исайка вдруг поднял веки и улыбнулся тихой улыбкой, совсем неожиданной при пустых и бессмысленных глазах.

— Так говоришь: звал? — насмешливо спросил Ленька Мокрый.

— Звал, — покорно сказал Исайка. — Звал: «Исайка!»

Мокрый хотел еще о чем-то спросить. Он даже открыл рот, но вдруг резко повернулся и ушел.

Тюлени острова уже давно остались позади. Под крепким боковым ветром шаланды шли ходко, слегка поскрипывая мачтами и реями. Исайка сидел без движения. Он ни о чем не думал. Он даже не чувствовал боли и все прошлое и сегодняшнее для него уже перестало существовать.

На него никто не обращал внимания. Только следящий за парусами и рулем старик-кормовой жалостливо рассматривал избитое, окровавленное и такое спокойное лицо Исайки.

И вдруг старик вздрогнул: Исайка как-то странно закинул голову и слегка склонил ее к плечу. Старику показалось, что Исайка прислушивается к чему-то далекому. И вдруг на его окровавленных и разбитых губах скользнула тихая улыбка.

Набирая на себя шкот, старик краем глаза заметил, что Исаика начал медленно подниматься. У старика тяжелым предчувствием заныло сердце. Он хотел было крикнуть кому-либо, но не крикнул, и, затаив дыхание, смотрел, и уже знал, что произойдет что-то страшное. Исаика поднялся с закрытыми глазами... потом склонился над низким бортом и легко скользнул в море...

Это заметили все... Даже Ленька Мокрый увидел это. Бешено ругаясь, он кинулся к корме, неизвестно для чего вытаскивая застрявший в кармане наган...

Франкфурт-Майн, 1953

РАСПЯТИЕ

Движения человека были вялыми. Человек был страшно худ, он был до жути тощим и потому его широкие плечи казались уродливыми. Человек бродил без цели. И вдруг его взгляд бессмысленно остановился на валяющемся лезвии перочинного ножа. Лезвие давно лежало тут, около мусорной кучи, и уже успело покрыться ржавчиной. Лезвие никого не интересовало.

В помутневшем глазу человека отразилась живая мысль. С трудом наклонившись, человек поднял ржавое лезвие и, пошатываясь, пошел за угол барака. Найдя плоский камень, человек, в позе дикаря, добивающего огонь, начал оттачивать лезвие, сгонять с него ржавчину. Изредка он прекращал работу, пристально разглядывал железо, потом плевал на камень и продолжал шлифовку.

Это продолжалось очень долго и, наконец, заинтересовало еще нескольких, тоже в рваных защитных шинелях: они сели вокруг и внимательно следили. Когда человек опять начал рассматривать лезвие, заблестевшее чистым серебром, один из наблюдателей улыбнулся, собрав на лице бескровную кожу складками серой и грязной бумаги, и спросил:

— Что? Резаться будешь?

Человек поднял руку к виску, выдернул волос и очень ловко провел им по лезвию: чуть коснувшись острия, волос покорно распался на две части. После этого человек оторвал кусок шинели, аккуратно завернул лезвие и сверток спрятал за пазуху. Потом он встал и ушел.

Около громадной кухни толпились люди в заросших грязью шинелях. Они почти правильными кольцами охватывали сооружение, в котором были размещены котлы.

В ближайшем к кухне кольце были те, в которых ощущался запас силы и энергии. Дальше — более слабые. Затем — синие и нерешительные, а позади — уже просто беспомощно лежавшие и равнодушно сидевшие на земле. Все они надеялись на картофельные очистки или кости. Но очисток было мало, а людей — много. И все они хотели жить. Поэтому брошенная картошка вызывала свалку и улыбку немецкого ефрейтора, управлявшего кухней для военнопленных.

Человек, на груди которого было спрятано блестящее лезвие, направлялся к кухне. Мимо лежащих он прошел свободно. Дальше его не

пустили, опасаясь лишнего конкурента. Когда он попытался протестовать и сказал, что идет не за супом, что ему нужно обыкновенное полено, кусок дерева, обломок доски, его ударили по лицу. Человек был слаб и сразу упал. Полежав немного, он встал и, пошатываясь, чувствуя на себе злобу голодных глаз, выбрался из толпы.

Он долго бродил без цели. Он уже несколько раз присаживался отдохнуть и каждый раз, поднимаясь, замечал, как все больше и больше слабеют его ноги. Но он все-таки шагал. И, наконец, несколько впереди себя, увидел прямо на земле громадный кусок хлеба. Это его не удивило и он равнодушно подумал, что кошмар голода вновь вызывает бредовые галлюцинации. Но уже через несколько секунд, совершенно незаметно для себя, он оставил эту трезвую мысль и уверовал в реальность, в возможность найти кем-то брошенный кусок хлеба. Вслед за этим, потрясенный испугом, что кто-либо другой заметит то же самое, он бросился бежать. Бежал он быстро, задыхаясь, слышал, как бьется его сердце где-то высоко, совсем под подбородком. Это ему мешало. Торопливо глотнув воздух, он споткнулся и упал, легко потеряв сознание.

Открыв глаза, еще не вставая, человек оглянулся вокруг: на земле ничего не было. Но запах хлеба... запах призрачного хлеба заставил человека заплакать слезами последнего отчаяния...

Вся ночь прошла в бреду. Серый рассвет не успокоил. Человек мучительно долго пытался вспомнить что-то важное и очень нужное. Но воспоминание не облекалось в зримые образы; оно было расплывчатым, мутным и невосстановимым, как сразу и вдруг забытое сновидение.

Убедившись в бесплодности своих усилий, человек лег на грязный пол барака. Лежать было неудобно. Человек повернулся. То же самое. Тогда он подоткнул руку под правый бок и нашупал что-то твердое. Это его заинтересовало. Расстегнув шинель, он влез рукой за пазуху гимнастерки и вытащил сверток. Некоторое время он рассматривал его с удивлением, потом развернул, и только когда остро отточенное лезвие блеснуло светлой полосой, он вспомнил все. Воспоминание было настолько ярким, что он даже почувствовал вчерашний удар по лицу.

После этого человек поднялся, оглянулся вокруг, рассмотрел громадные бревна и толстые доски нар. Доски почему-то привлекли его внимание. Он даже ощупал их пальцами. Потом покачал головой и медленно вышел из барака.

К кухне он больше не пробовал подходить. Он бродил всюду, ощупывая глазами каждый бугорок земли, заглядывая за углы бараков. Со стороны казалось, что у него есть определенная цель, вполне ясная, хотя и трудно осуществимая.

В одном месте, у сторожевой вышки, он остановился и стал смотреть на часового. Тому это не понравилось и с вышки раздался крик. Человек ничего не понял и продолжал стоять. Тогда часовой выстрелил, но, видимо, без злобы: пуля разбросала песок около рваного сапога человека.

Даже после этого человек не поторопился уйти. Он еще некоторое

время постоял, опустив глаза к земле, как будто надеясь, что спрятавшийся в ней свинец выползет.

Потом он пошел дальше. И наткнулся на обломок ножки кресла, как раз на ту часть, которая слегка утолщена . . .

Работа была страшно тяжелая. Она отняла почти четыре дня, потому что ножка кресла была из благородного, твердого дерева, из которого когда-то делали барскую мебель. К тому же нож был маленький, без черенка, и чтобы держать его в руках, нужно было напрягать все силы.

Но человек работал упрямо. С рассвета до темноты. Работал почти четыре дня и когда все было готово, он на ладонь левой руки поставил маленького оленя.

С вниманием анатома он пристально разглядывал четко вырисованные мышцы, стройные ноги, надбровные дуги, выпуклые зоркие глаза. Изучая, он даже затаил дыхание, словно малейшее движение, еле уловимый шорох могли обратить в бегство это осторожное, красивое животное.

И вдруг ему стало грустно. Он глубоко вздохнул, подумав, что эту великолепную скульптуру, достойную взгляда знатока, придется продать. Даже не продать, а выменять на суп и хлеб. Нет, сказал себе человек, тщательно завернул оленя в грязную тряпку, спрятал на груди и залез в самый темный угол барака. Начав дремать, он неожиданно ощутил дразнящий запах свежего крестьянского хлеба, испеченного на вырезных кленовых листьях.

Во сне он сделал несколько глотательных движений, улыбнулся и . . . вдруг очнулся от режущей боли в желудке. Открыв глаза, спасаясь от тяжелого головокружения, он прижался лбом к бревну и сразу увидел оленя, уверенно и гордо повернувшего красивую голову . . .

Человек знал только пять немецких слов: брот, зупэ, гиб, табак и ду. Поэтому ему было трудно торговаться с немецким ефрейтором. К тому же человек не хотел выпускать оленя из рук.

Ефрейтор тоже говорил эти пять слов, но человек колебался: он рассчитывал получить (гиб) хотя бы целую буханку (брот), котелок жидкости (зупэ). А словом «ду» оперировал так часто, что ефрейтор плюнул и ушел, напоследок показав семь пальцев и сказав: «минутэн». Человек узнал еще одно немецкое слово и догадался, что он должен здесь стоять семь минут.

Ефрейтор вернулся с офицером и переводчиком. Офицер, его звали майором, с удивлением посмотрел на серое лицо человека и о чем-то спросил ефрейтора. Потом обратился к переводчику. Переводчик — к человеку.

Человек вытащил из-за пазухи сверток, развернул тряпку и протянул оленя майору. Офицер что-то приказал ефрейтору. Тот вынул носовой платок, аккуратно вытер скульптуру. После этого олень попал в руки офицера.

Человек ждал. Офицер молча, с напряженным внимание разглядывал оленя.

— Где вы достали это? Укради?

На глинистом лице человека были глаза. В этих глазах странно перемешалась гордость с презрением. Несколько позже тяжесть сожаления заставила человека повернуться и уйти, забыв о запахе свежего хлеба.

Переводчик догнал человека. Остановил и сказал, что господин майор не хотел обидеть, что господин майор просто желает узнать, каким образом в руки жалкого и грязного военнопленного могла попасть эта великолепная... Тогда человек дрожащими руками вынул из-за пазухи остаток ножки кресла из благородного дерева, отточенный на камне кусок ножа, и все это показал.

Господин майор с удивлением слушал.

— Так вы — скульптор?

— Да, я резчик...

— Так вы мастер?

— Если это имеет какое-либо отношение к делу, передайте майору, что я — скульптор...

— Ваша фамилия?

Безымянный человек, медленно умирающий среди сотни тысяч военнопленных в Смоленском лагере № 126, совершенно неожиданно для господина майора оказался с именем...

Все это заинтересовало майора. Но это не было любопытством минутного настроения, капризом или случайно возникшей симпатией. В уже давным-давно потерянных годах, в молодости, майор мечтал стать художником, ездил в Италию и в Голландию. Его там знали, и в картинных галереях встречали не как бездельничающего туриста и потому не мешали проводить часы перед картинами, пережившими века.

Теперь, затворив дверь своего кабинета, майор молча сидел перед миниатюрой, поворачивал оленя и так и этак, и думал о судьбе скульптора. Странными и не совсем обычными путями мысли эти привели к неожиданным выводам. Майор криво усмехнулся: мечтатель превратился в офицера, забыл о молодости, о великих итальянцах и голландцах, все это добровольно спрятав под блеском офицерских погон. Человека же, осуществившего свою мечту, насилино переодели в солдатскую шинель, отобрали резец, всунув в руки хитро сделанный прибор не только для разрушения храмов и дворцов, но и самой человеческой жизни.

Один сидит здесь, в кабинете, и размышляет о сложности жизненного пути. Другой медленно умирает. Один похоронил взлеты духа. Другой... и тут майор вспомнил глаза военнопленного, неожиданно вспыхнувшие искрами гордости и презрения.

Преимущества своего положения майор не ощутил. Наоборот, в нем шевельнулась легкая зависть к этому человеку и теплое сожаление. Все это было настолько ново, что майор поднялся со стула и, зябко потирая руки, прошелся по кабинету. Потом, как будто торопясь что-то решить, вернулся к столу и взялся за перо. В письме к своему другу, майор все рассказал: и об олене, и о своих мыслях, и о восхищении,

которое вызвало в нем совершенство форм маленького оленя, теперь, вот тут, перед ним стоящего на письменном столе. И о человеке в грязной шинели военнопленного, которому майор немножко завидует.

Когда письмо было закончено, майор вызывал дежурного фельдебеля и приказал разыскать военнопленного, скульптора, и пригласить... да, майор так и сказал: «И пригласить сюда»...

По вечерам, оставаясь в одиночестве, скульптор вынимал обломок перочинного ножа, которым он когда-то вырезал маленького оленя. Лезвие было завернуто в ту же самую тряпку, в кусок шинели. Рассматривая блестящую поверхность металла, скульптор как бы со стороны видел самого себя сидящим в позе дикаря, добывающего огонь.

Откинувшись на спинку кресла, он прикрывал глаза. Сразу же возникали видения, свободно разрушающие границы времени. Видения напоминали бред. Тут было и детство на берегу Волги. Потом врывавшийся шум ребячих голосов и приходил кошмар удара по лицу. Падение в грязь завершалось блеском снега и холодным сиянием зимнего солнца.

Все это казалось кусками разных картин, настеклеенных. Это моя жизнь, подумал скульптор.

Осторожно завернув лезвие уже ни для чего не нужного перочинного ножа, он положил его в самый низ шкафа, как бы пряча от чужих глаз. Для чего все это делается, он и сам не знал. Собственно, он об этом и не думал. Это было из глубины души идущее требование сберечь эту металлическую пластинку, как безотчетное утверждение права на свое прошлое.

В этом странном мире, называемом смоленским лагерем № 126, жил скульптор. Теперь он уже не был похож на того безымянного, который с трудом поднимался с загаженного пола барака.

Но он ничего не знал о письме, написанном майором. Не знал он и об ответе, полученном майором, о том, что почти все письмо оттуда, из Германии, было посвящено ему.

Да, сообщал друг майору, этот военнопленный — знаменитый скульптор. Его работы — в Америке и в Англии, его работами восхищались туристы, приезжавшие в Москву, на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Его работы... короче: его имя войдет в энциклопедию искусств.

Вслед за этим письмом, из Берлина прибыли ящики с инструментами и теперь скульптор имел все, необходимое для работ.

Майор часто посещал мастерскую. Усевшись рядом со скульптором, майор задумчиво наблюдал, как из бессмысленного чурбана возникают контуры, как контуры превращаются в отчетливые формы, как, наконец, рождается скульптура.

Есть простой способ: из отдельных, вырезанных фигур создается композиция. Скульптор из цельного куска создавал композицию. Когда таким образом появилась бешено несущаяся тройка, когда майор увидел дико взметнувшегося коренника и играющих пристяжных, он отошел немного в сторону и с изумлением остановился:

- Это что? Как назвать?
- Это — Русь...
- Русь?.. Русь — это страна, какое же отношение...
- Это — символ... символ страны...
- Странно, — сказал майор. — Я не совсем понимаю...

Переводчиком у майора был фельдфебель, господин Ромм. У Ромма материнским языком был русский язык, хотя теперь фельдфебель считался немцем и явился в армию с последнего курса Гайдельбергского университета.

Господину Ромму было легко и просто перевести слова скульптора, прочитанный им кусок из Гоголя:

«Эх, тройка! Птица тройка, кто тебя выдумал? знать у бойкого народа ты могла только родиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем-гладнем разметнулась на полсвета... Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься?.. Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух...»

Господин Ромм, переводчик майора, наизусть знал это гоголевское место. Не один раз, в студенческом кругу, декламировал он эти строчки, отлитые в немецкие слова, уносясь душой в свое прошлое, в донеские степи и глядя на притихших, задумавшихся студентов.

«Русь, куда ж несешься ты, дай ответ? Не дает ответа...»

Скульптор не понимал слов переводчика, но чувствовал в них движение, разорванный бешеной тройкой воздух... И безответность...

Геббелльс не любил русских... Нет, это не совсем точно: Геббелльс ненавидел все русское.

Но когда в его кабинете, на его письменном столе, признаваемом знатоками произведением подлинного искусства и оцениваемом в десятки тысяч марок, появилась «Русь-Тройка», он стал ненавидеть Русь еще больше. Ненависть его запылала таким горячим огнем, что однажды вызвал он виднейшего гитлеровского скульптора, господина фон Х., привел в свой кабинет и сказал:

— Смотрите, вы... скульптор! Это создал унтерменш... Поняли? Смотрите и... убирайтесь вон...

А майор получил письмо из канцелярии Геббелльса. Это письмо он прочитал скульптору и переводчику, господину Ромм, разъяснил, что величайший деятель Великой Германии предлагает русскому мастеру виллу под Берлином, все мыслимые удобства, мастерские, прекрасных помощников, деньги, почет...

Скульптор закрыл глаза, подумал о том, что он, правнук прадедов — разчиков по дереву, имеет право на виллу и на все, чего он никогда не имел... и вспомнил завернутое в тряпку лезвие и маленького оленя, обменянного на хлеб и суп, и сказал:

— Нет...

Скульптор был со странностями. Широкоплечий и сильный, уверенный в своем таланте, остроумный и с хитрецой русского мужичка,

перешедшей к нему от предков, он скрипел зубами от злобы и по ночам плакал сухими слезами. Так скрипела зубами и сухими слезами выливалась ненависть к немцам.

Он говорил и думал словами статей газет... И удивлялся этому. Удивлялся своей перемене именно здесь, в этом мире войны. Он не был коммунистом, он даже и не был им близок. А для того, чтобы еще дальше уйти от них, стать совершенно свободным в творчестве, он оказался скульптором-аниалистом, мастером форм животных. Вначале это удивляло многих московских художников. Но постепенно, когда он достиг изумительного совершенства, сложилось твердое мнение, что талант его ограничен миром животных, их экстерьером, движением. И только.

Так о нем, в свое время, писали и иностранные обозреватели выставок. Поэтому майор удивился, когда скульптор сказал, что он совсем недавно видел человеческий тип, квинт-эсценцию германской расы, и желает создать скульптурное изображение немецкого солдата...

Солдат был доставлен. В каске, почти прикрывающей брови, это было воплощение идеала. Это был сам Лоэнгрин, перешагнувший из веков в XX столетие, Лоэнгрин, по ошибке взявший автомат в руки.

Окончание работы над этой скульптурой совпало со страшным известием: в среду должны были повесить четверых военнопленных. Уже были подготовлены виселицы.

Скульптор жесткими глазами встретил майора. Нет, сам господин майор не может отменить казнь. Но в Смоленск приезжает... да, сегодня приезжает главнокомандующий, фон Браухич... Он знает, он слышал, он имеет одну из работ скульптора. Даже больше: фон Браухич зайдет посмотреть современного Лоэнгрина и тогда...

Фон Браухич пожал руку скульптору, предложил ему поехать в свое имение, получить все, нужное для творчества. Творить, что и как хочет.

— Спасибо, — ответил скульптор. — Я создал эту скульптуру, потому что передо мной был великолепный экземпляр человека... Мой глаз остановился на нем, пораженный совершенными формами, изумительным профилем, выразительностью голубых глаз... Вы меня поймете, генерал, если я скажу: дворовая собака — это собака, а ирландский дог — произведение искусства?

— Да, я вас понимаю, — ответил старый генерал. — Итак?

— ...лично я могу ненавидеть дога и вместе с тем буду искренне восхищаться породой, с любовью вдохновения ощупывать мышцы и рассматривать безукоризненный рисунок головы...

— Итак, — опять повторил генерал.

— ...я ненавижу немцев... В этой ненависти и вы виноваты, генерал...

Фон Браухич, подойдя совсем близко к скульптору, тихо произнес:

— Может быть... нет, мне кажется, я вас понимаю... Могу я этот бюст взять с собой?

— Да...

— Чем я могу быть вам полезен?

Скульптор задумался. Потом сказал:

— Если я попрошу отменить повешение четверых?

Фон Браухич слегка вздрогнул, повернулся к майору и о чем-то спросил. Во время этого разговора скульптор стоял со сжатыми, бескровными губами.

Генерал почему-то пристально смотрел сквозь стекла окна: там, вдали, виднелась часть разрушенного города и на горе вырисовывался древний собор.

— Прощайте... Хорошо... Я отменю казнь... Это — мое слово... слово... старого ирландского дога... уходящего на покой...

Он всегда спал хорошо и крепко. Но в эту ночь внутренний толчок заставил его вздрогнуть и сразу открыть глаза. Порывисто сев, глядя в еле ощущимую серость, идущую через небольшое окно, он как бы продолжал уже давным-давно, еще во сне, начатое решение сложной задачи, в какую меру времени укладывается громадное пространство, отделяющее сегодня от прошлого...

Надо было восстановить большие события, вновь пережить их, чтобы идти назад. И когда он преодолел последнее, совпавшее с августом 1941 года, глаза его округлились и наполнились ужасом: простой подсчет показал, что все это уложилось в очень жалкую цифру шестнадцати месяцев.

Скульптор не мог поверить этому. Он отрицательно качнул головой. Он сжал виски руками, испугавшись, что им утрачена способность мыслить, рассуждать, правильно воспринимать и оценивать происходящее. Ему стало жарко, он рукавом гимнастерки вытер пот со лба. Он убеждал себя успокоиться, уговаривал, утешал, что это случайность, что это пройдет, стоит только взять себя в руки. Чтобы добиться этого, он начал проверять себя, очень осторожно, боясь сразу же столкнуться с правдой...

«Один плюс один»... прошептал он и хотя ответ возник чисто механически, он сжал брови, как будто производя очень сложное вычисление. Выждав какое-то время, достаточное для оправдания этой выдуманной трудности, он с облегчением вздохнул и уверенно сказал: «Два!»

Но это его не успокоило. Тогда он пальцем, на черной доске ночи, написал два трехзначных числа и между ними поставил знак умножения. В воздухе, слегка вздрагивая, повисли светлые, чуть-чуть искрящиеся, цифры. Действие было произведено. Получился итог. Тщательно его проверив, скульптор сказал: «Да... довольно». Согласившись с этим, чья-то невидимая рука погасила блеск цифр.

Скульптор почувствовал себя выздоровевшим и уже спокойно принял за пересчет тех месяцев, ничтожное число которых так его испугало. Он считал медленно, вслух. Шестнадцать месяцев! Это опять вызвало дрожь, но он быстро справился с собой, признав непреложность и бесспорность итога. Все верно, безусловно верно, но... как могла в эту краткость времени уложиться грандиозность пережитого, он не мог понять.

В конце-концов ему стало представляться, что эта грандиозность, заполнившая жалкие шестнадцать месяцев, разделила его жизнь. По ту сторону было его прошлое: оно облекалось во вполне реальные формы. По эту сторону — что-то непонятное, распльывающееся, трудно уловимое, клубок бредовых сновидений, фата-моргана, безумие, продолжающееся... он брезгливо отодвинул представление о шестнадцати месяцах, потому что перед ним была вечность! С меньшим уже не могла примириться его мукой и стоном наполненная душа.

Сгорбившись, придавленный тяжестью своих мыслей и величием вечности, скульптор понял, что страдает он не физически. Это сознание пришло неожиданно и несколько его удивило. Он даже попытался доказать самому себе, что страдания его вполне реальны. Да, говорил он себе, он может идти туда и сюда, ему улыбаются вооруженные автоматами часовые, но свобода его ограничена проволокой. Не свободный сам, он потерял счет людям, которые по его просьбе получили свободу. Приходящего к нему майора он угощает таким вином, какого майор уже давно не имеет.

Человек трезвого ума, он верил в свой талант так же, как верил в зоркость своего глаза. Он чувствовал силу в себе, силу в каждом пальце. Он был уверен в любом своем движении. Он был физически здоров. Поэтому таким нелепым казалось ему ощущение непонятного страдания, живущего где-то в нем, внутри, независимо от его телесной оболочки.

Болезнь души, подумал скульптор, и удивленно приподнял плечи. Удивление было законно. Как и почему — это другое дело! — но он чувствовал себя свободным от мистических представлений и не привык рассуждать о душе. Не называя себя атеистом, он вполне сознательно, в недавнем прошлом, отрицал все, что идеалисты (так он их называл), пытались поставить над человеком и его судьбой. Это, в уже ушедшем прошлом, как-то утверждало его превосходство. Но над чем было это превосходство, сейчас, в данную минуту, он уже не мог сказать. И странно: это его не огорчало...

Немецкий скульптор, которого в журнале искусств почтительно величали мэтром, ехал в Смоленск с удовольствием. Он хотел посмотреть на эту неизвестную территорию, увидеть населяющих ее людей. Конечно, он не особенно верил истерическим словам своих газет о людях Восточной равнины, но вместе с тем не хотел признать, что они почти как европейцы... тем более германцы, услужливо подсказала мысль и мэтр ей не возражал.

Он ехал в чужой, далекий и совершенно неисследованный мир. А это что-нибудь да значит. К тому же предстояла встреча с этим русским скульптором, о котором сейчас так много говорят.

Хм... скульптор! Что тут явное преувеличение, мэтр был убежден. Просто-напросто фронтовые офицеры столкнулись с самоучкой, владеющим стамеской, ножом, восхитились игрушками. Это понятно. Это даже естественно, подумал мэтр: в народе часто встречаются прекрасные скрипачи, резчики, певцы, приводящие в восхищение и детский восторг своих уездных патриотов. Но эти дарования очень узки,

лишены культуры и, в конечном счете, способны только на изготовление игрушек. И этот — то же самое...

Встреча со скульптором несколько расстроила мэтра, пошатнув уже устоявшийся взгляд на Восток. Скульптор очень легко и свободно говорил об искусстве не только современном. Он свободно и просто обращался с именами, представляющими то или иное течение. А так как беседа вращалась вокруг скульптуры и мэтр должен был назвать себя, этому имени скульптор не удивился, а только пристально посмотрел на своего гостя. Правда, скульптор отказался от оценки его творчества и не высказался о представляемом им течении...

— У меня свой взгляд на искусство, — заявил скульптор. — Я вдохновляюсь образцами, существующими в мире Божьем, нахожу их совершенными и прекрасными, и потому не могу видеть искусства в бронзовом жеребенке, туловище которого покоятся на четырех бесформенных, разной толщины палках и снабжено головой, похожей на огромный изуродованный огурец...

Переводчик, господин Ромм, бывший гайдельбергский студент, умел точными словами передать мысль скульптора. Скоро мэтр пришел к убеждению, очень далекому от того, которое было до встречи. Но что особенно поразило его, так это удивительное, прямо-таки сверхъестественное осязание, присущее пальцам скульптора. Законченность формы он проверял не глазами, а пальцами. Как слепой, даже отвернув голову в сторону, он присасывался ими к скульптуре, скользил по ней, читал пальцами и ими находил незаметную для взора фальшь в какой-то крохотной точке. И это было безошибочно.

Мэтр вначале думал, что тут всего-лишь превосходное знание анатомии, но потом отказался от этого: одной анатомии мало. Во всяком случае, подумал мэтр, у меня такой способности нет. Потом, уже позже, у себя в мастерской, с настойчивостью зависти он пробовал повторять движения рук скульптора. И, наконец, с сожалением убедился, что его пальцы отчетливо чувствуют материал, передают мозгу его изгибы... И только... Дальше — молчание.

Удивляло мэтра и какое-то языческое поклонение скульптора перед природой. Казалось, что только в ней он находит прекрасное. Что только в ней — Верх и Низ, и что только природа способна вызвать истинное вдохновение...

Вначале появлялись лейтенанты и оберлейтенанты... Потом майоры... Наконец, о посещении мастерской уже шла переписка. Исчезли лейтенанты и стали приезжать полковники и генералы. Однажды майор со смехом сказал:

— Теперь очередь за министрами... — И, подумав, добавил: — Почему бы вам не переехать в Германию? Да, да, я понимаю... но ведь искусство интернационально...

— Не знаю... может быть... — ответил скульптор. — Но уверен, что в момент, когда Берлин будет валяться в крови и развалинах, эти кровь и развалины будут для вас дороже и ближе императорских дворцов Крыма...

Он не ожидал, что эта славянская вязь букв станет такой близкой его душе. В по-древнему звучащих словах было молитвенное звучание, настроение углубленной в себя примиренности.

Вечерами, в одиночестве, он читал. И сами буквы, и складывающиеся из них слова, несущие в себе сокровенный смысл, заставляли думать, причем мысли очень легко переходили в образы, навеянные славянской вязью.

Он не мог объяснить себе, почему это происходит. И примирился, что все это идет оттуда, от юности, от матери, от маленькой церквушки, над которой было удивительно большое и звездное небо.

Он взглянул на себя со стороны. И поразился. Отрицавший все — читает страдания Христовы, волнуется смущением Петра, с дрожью слышит крики петуха и видит далекую ночь, блеск костров, древних воинов с копьями. И начинающийся рассвет, открывающий Голгофу и Распятие...

Все — сам... Сам он выбрал дерево, вырезал нужных размеров чурку, сам придал ей грубую форму и сам отнес в свою комнату...

Подготовкой материала он уже давно не занимался. Он только распоряжался, указывал нужные размеры своим помощникам, в числе которых уже было два настоящих мастера, и они покорными инструментами приближали дерево к задуманной картине. Только после этого скульптор надевал фартук и брал в руки резцы, за движением и уверенным нажимом которых внимательно следили мастера, стараясь разгадать тайну творчества, запомнить каждый поворот инструмента.

Вечерами же он оставался один. И по тому, как он утром, бережно, выносил стружки и тут же сжигал их в печи, все знали, что скульптор работает ночами. Над чем — это осталось тайной.

Он распоряжался первоклассными инструментами. На этих инструментах была марка Круппа — лучшая рекомендация стали. Инструменты, подобранные в совершенстве, от миллиметровых, причудливо изогнутых стамесок, до широких долот, пугающих острием, хранились в обитых плюшем ящиках.

Скульптор все это пересмотрел перед началом своей ночной работы. Он дохнул на лезвие резца и оно покрылось туманным пятном. С покорной торопливостью туман исчез, утверждая качество металла, радость и гордость мастера.

Он не сразу начал свою работу. Он сидел, глубоко задумавшись, и не замечал, как сурово были сжаты его брови. Потом, как бы уже окончательно что-то решив, он принял внимание рассматривать свои пальцы. В них чувствовалась сила профессионала, а может быть и наследственность. Пальцами он шевельнул.

Затем он поднялся со стула, осторожно уложил инструменты в ящики, закрыл их и пошел к своей постели. Нагнувшись, он выдвинул чемодан и вынул из него сверток. Вновь вернувшись к столу, он бережно развернул обрывок шинели и увидел некогда найденное лезвие перочинного ножа.

Приблизив лезвие к глазам, он прочитал на нем мелкую надпись: «Мастер Самойлов и дети Н.-Новгород». Надпись была чуть заметна. Новгород даже не прочитывался, а скорее угадывался.

Скульптор взял бруск и стал точить нож. Потом, как и тогда, давно, он часть лезвия обернул тряпкой и острием нажал на дерево...

Крест был высотой в восемьдесят сантиметров. Все, и крест, и тело Христа, и терновый венец, и четыре древние славянские литеры, все это должно быть из одного сплошного куска дерева.

В особенности тяжела была подготовительная, контурная работа. Маленький нож быстро становился тупым, держать его было трудно, и потому, что он такой маленький, требовалось колоссальное напряжение сил. Открыв же ящики, взяв крупновский инструмент, все это можно было бы сделать в сравнительно короткий срок. Но скульптор, с настойчивостью маньяка, работал лезвием, не имеющим черенка. Со стороны это выглядело чудацеством и капризом. Но эти слова ничего не могли объяснить. Он работал так, и по другому не мог работать. Почему? Он даже на задумывался над этим.

Глубокой ночью, прикрыв Распятие холстом, он ложился на постель и еще некоторое время уставшие пальцы держали его мысли около начатой скульптуры. Потом, засыпая, перед его глазами возникала славянская вязь букв, складывающихся в строчки. Эти строчки, уже заснув, он продолжал читать...

Прошла зима... В один вечер скульптор лезвием перочинного ножа в последний раз прикоснулся к дереву, превращенному в Распятие. От лезвия осталось всего-навсего узенькая полоска, на которой сохранилось только «Мастер Само...». Детей и Нижний Новгород безжалостно забрал на себя точильный камень.

Рассматривая Распятие широко открытыми глазами, скульптор почему-то избегал смотреть в лицо Христа. Остановив взгляд на буквах «И. Н. Ц. И.», он глубоко задумался. Затем, словно подчинившись чьему-то приказу, он встал, подошел к этажерке и взял толстую книгу.

Найти нужное место в ней было легко: книга сама и просто раскрылась в привычном изгибе.

Он читал долго. Читал не отрываясь. Некоторые слова, видимо, для него имели особое значение, потому что скульптор иногда скользил глазами по странице и возвращался к уже прочитанному. Лицо его делалось строгим, оно как будто худело и бледнело. Губы слегка шевелились и вздрагивали.

Потом скульптор сомкнул веки и положил на книгу свои руки. Лицо его выражало устремленную напряженность.

Он не заметил, когда открылись его глаза. Он даже не сразу понял, что уже давно пристально вглядывался в лицо Христа. Когда же это дошло до его сознания, скульптору показалось, что вот сейчас освободятся прятанные руки и благословят все, весь мир, леса, поля и чистое голубое небо. И вслед за этим сойдет скорбь с Его уст.

Удивительное сочетание прощения и скорби потрясло скульптора. Это было воплощение Голгофы.

Он посмотрел на пальцы своих рук... и гордую мысль о силе творчества потушил в искренней радости, что его простой и грешный талант смог коснуться тайны славянской вязи.

У скульптора, как, видимо, и у всякого художника, была потребность ответить на вопрос: хорошо или плохо? И сейчас, отойдя чуть-чуть в сторону, он рассматривал Распятие, и боялся задать себе такой вопрос. Его страшили обыкновенные человеческие слова, бессильные выразить то, чем он сейчас живет.

Раньше, закончив ту или другую скульптуру, он проверял ее не глазами, а пальцами. И на этот раз, механически, профессиональным жестом, он хотел осязать совершенство форм. Уже подняв руки, скульптор вдруг почувствовал странную уверенность в ненужности того, что он хотел сделать. Не опуская рук, он осторожно отодвинулся от Распятия и, наконец, застыл, прислонившись к стене...

Почему возникло такое решение, он не мог себе объяснить, признав его непреложность. Подчинившись ему, он взял в руки уже совсем узенькую металлическую полоску, оставшуюся от перочинного ножа, долго ее рассматривал и, наконец, подойдя к круглой, пылающей печи, открыл дверцу и бросил туда лезвие.

Это простое движение как бы освободило его от многих сомнений. Он вздохнул легко и радостно.

Взяв белую простыню, он прикрыл ею Распятие, стараясь не прикасаться к нему пальцами.

Майор уже давно стал искренним другом скульптора и забыл, что перед ним военнопленный номер такой то. И поэтому, когда к нему заехал брат, после многомесячного пребывания на фронте получивший отпуск, майор решил познакомить его со скульптором.

Брат майора торопился. Ему надо было поспеть на аэродром к определенному часу, чтобы получить место на самолете, идущем на запад. Поэтому майор предложил брату сразу же пойти к скульптору.

Войдя в мастерскую, они узнали, что скульптор куда-то ушел. Но майор хорошо знал расположение всех комнат; он был здесь как дома; ему даже были известны все начатые работы.

Войдя в спальню скульптора, майор случайно открыл дверцу шкафа и заметил какую-то фигуру, завернутую в холст. Удивившись, майор приподнял материю и застыл в недоумении: перед ним изумительным видением предстало Распятие, поразившее его новыми, невиданными ранее чертами лика Христа.

Они долго молчали. Наконец, брат стал просить у майора разрешить взять Распятие и отвезти его домой. Майор не соглашался. Он предлагал подождать скульптора и получить согласие. Брат умолял, доказывая, что нельзя это изумительное произведение оставлять здесь, вблизи фронта.

Наступили последние четверть часа, оставшиеся до отлета транспортного Юнкера... Майор сдался, решив извиниться перед скульптором, объяснив ему все, заверив, что это Распятие попадет в древнюю германскую семью и станет ее реликвией...

Майор понял бы бешенство, крики, возмущение скульптора, не нашедшего у себя в комнате Распятия. Но он не мог объяснить себе, по-

чему скульптор, спокойно выслушав все, вдруг бессильно опустил голову и застыл в оцепенении.

Майор часто заходил к скульптору. Усевшись в кресло, офицер с удивлением рассматривал странно равнодушного, молчаливого и как будто утратившего силы скульптора. Отсутствующим и каким-то холодным был его взгляд, как бы сосредоточенный на далеком видении.

Майору стало известно, что теперь скульптор ни во что не вмешивается, ничем не интересуется и даже не выходит к обеду.

Это смущило офицера. Постепенно он пришел к убеждению, вначале показавшемуся странным. Но чем больше он об этом думал, тем яснее сознавал, что... и не закончив своих размышлений, он пошел к скульптору и сказал:

— Сегодня я напишу брату и Распятие будет возвращено...

Скульптор вздрогнул и поднял опущенные глаза... Майор понял все...

Скульптор уже несколько месяцев жил в отдельном домике, только косвенно имевшем отношение к лагерю военнопленных. Скульптор был почти свободен... потому что он сам отказался от свободы, от виллы, от денег, от Европы. Он продолжал жить на своей земле...

Когда же началась спешная эвакуация Смоленска, когда уже почти все было вывезено, майор зашел в этот домик, к скульптору, и предложил собираться.

— Нет... — сказал скульптор.

Напрасно майор убеждал и настаивал, очень правдоподобно рисуя будущее.

— Нет...

Когда майор начал возмущаться, скульптор ответил:

— Вы можете прислать автоматчиков...

Тогда майор вздохнул:

— Мне очень жаль оставлять вас здесь. — И добавил, протянув руку: — Прощайте... вы сами решили...

Когда все закончилось и совсем близко заскрежетали танки, скульптор медленно подошел к столу и сел. Вначале глаза его были опущены. Потом он поднял их и устремил на Распятие, стоящее на этажерке. Скульптору показалось, что скорбная линия у губ Христа стала особенно отчетливой.

Скульптор вздрогнул, услышав крики. Они прозвучали сигналом. Подчиняясь ему, скульптор встал, приблизился к Распятию и завернулся в холст. Почти в это же время с силой распахнулась дверь. Скульптор повернул голову и узнал их. Это были свои, вырвавшиеся из бреда сновидений, это были братья, на встречу с которыми были утрачены надежды.

Потрясенный радостью свидания, наполненный любовью к этим, только что вошедшим, он хотел было броситься к ним. Но есть предел человеческим силам, и скульптор не выдержал, пошатнулся и упал в кресло.

Один из вошедших, в странно яркой форме и с пистолетом в руке, подскочил к скульптору. Уже пришедший в себя скульптор с жалким изумлением узнал, что он должен встать и поднять руки. Это его смущило. Пытаясь что-то объяснить, он сказал, что он русский, что он известный московский скульптор, что он попал раненым в плен в августе 1941 года вместе со всем московским ополчением.

Говоря об этом, он невольно встал. В это время другой из вошедших стволом автомата сбросил холст и все увидели Распятие. Распятие пошатнулось. Скульптор рванулся к нему, но застыл на месте от удара в висок. Скульптор был еще молод и очень силен. Он не упал. Только после четвертого удара он зашатался и, бессильно опустив руки, начал падать... Но в последний момент, страшным напряжением воли, он открыл глаза и в туманной дали заметил еле различимое Распятие...

— Вот и все... Я вам рассказал... Это куски жизни... Ну, знаете, вроде отдельных страниц пьесы, которую можно назвать... Нет, я не думаю, что можно как-то объединить их общим названием... Так вот, если когда-либо вы вспомните обо всем этом, запишите... а найдете благосклонного редактора, напечатайте... Потому что это правда... Прощайте...

Он приподнял шляпу, посмотрел вверх на звезды, и вдруг остановился:

— Одна просьба: где-нибудь, в конце этих записок укажите... нет, просто добавьте: хотелось бы, чтобы эти строчки суждено было прочитать Павлу Александровичу Баландину, московскому скульптору...

Франкфурт-Майн — Мюнхен.

ДУША ЧЕЛОВЕКА

(рассказ профессора)

— Нет, господа, — прервал профессор горячо споривших об интеллекте, о способности некоторых галлюцинировать, — дело не только в этом. Я не опровергаю Николая Николаевича и до известной степени соглашаюсь с утверждениями Григория Васильевича, но все же беру на себя смелость сказать, что шаблонные, истасканные понятия о нервной системе годны только в том случае, когда мы, желая оттородиться от чего то таинственного, диллентански всплескиваем руками и истерически вскрикиваем: «Ах, все это ерунда!», «Повышенная нервность, эксцентризм» и прочее. Пролепстив это, мы самодовольно ульбаемся, удовлетворенно оглядываемся, как бы приглашая присутствующих посмотреть, какие мы умные, не останавливающиеся ни перед чем, умеющие все объяснить материалистически.

А на самом деле мы ничего не объяснили. Потому что мы не можем и, простите за смелость, никогда не сможем объяснить многое, что происходит в душе и с душой человека.

Человек заснул. В состоянии сна он был одну минуту. И в эту минуту он повторил, самым подробным образом повторил свою сорокапятилетнюю жизнь. Шаг за шагом, от младенческих лет до седых волос шел он дорогами своей жизни, мучился, страдал, любил, к чему то стремился и... открыв глаза, в недоумении, с чувством потерянности и с внутренней дрожью смотрит человек на часы и высчитывает, что долгая жизнь его уложилась в шестьдесят секунд...

Человек задумался. Не о здешнем были его мысли. Глаза человека постепенно теряли свое обычное, земное выражение. Глядя в угол комнаты, он уже не видел стен, не было перед ним так хорошо знакомых обоев, ничего не было и... что-то случилось, какое-то легчайшее движение колыхнуло воздух... кто-то приблизился, и шорох одежды незримых нарушил молчание, и человек почувствовал себя перешагнувшим грань, за которой нет ни обоев, ни стен, нет ничего...

Глубоким вечером некто сидит у камина с книгой, увлекательно-умной, заставляющей думать. Читающий захвачен, он ведет беседу с автором, опровергает, с чем-то соглашаясь, что-то ставя под сомнение. Книга увлекла человека, и человеку теперь нет дела до жизни миллионного города с его шумом, грохотом, с торопливым бегом людей по залитым электричеством улицам... Почему же человек вдруг отло-

жил книгу, почему его, возвращенные от мыслей глаза растерянно скользят вокруг? В комнате нет никого, но... он явственно помнит чей-то голос, сейчас только звавший... Боже мой, он не может вспомнить этих вот тут сказанных слов. И он уже забыл о том, что несколько секунд назад, оглянувшись он убедился, что в его кабинете никого нет и не может быть. Откуда же это физически ощущаемое звучание повелительно сказанных слов? Бессознательно подчиняясь им, он тревожно кладет книгу, торопливо проходит ряд комнат, открывает парадную дверь, оглядывается вправо и влево, делает несколько десятков шагов и на углу улицы видит лежащего, окровавленного человека...

Вы попробуете всему этому найти очень глубокомысленные объяснения. Но все это будет очень далеко от истины, неубедительно, а главное — наивно, ибо мы пытаемся своими жалко-ограниченными возможностями познания, годными только для раскрытия тайны атома, влезть в душу человека, ощупать пальцами то, что никак не похоже на какой-то узел нервов, на печенку или селезенку...

«И вдохнул Бог в человека душу живую». Собственно, вот отсюда можно начинать дискуссию с так называемыми чистыми материалистами. Но я далек от этого. А вступление это предпослал к тому, чтобы рассказать об одном случае...

Это было давно: осенью 1916 года, в самый разгар первой мировой войны. Мне довелось в это время жить в семье одной вдовы, недавно благословившей своего третьего, последнего сына, отправившегося добровольцем на фронт.

Мать благословила сына. Своего последнего сына, Володю. Заметьте: последнего, ибо первые два, призванные в армию в самом начале войны офицерами запаса, были убиты, один где-то в Пруссии, другой — в Карпатах.

Что должна была пережить старушка-мать, вы себе можете представить. Но внешне она крепилась, с любовью вспоминала Володю, очень часто и много говорила о том, как нежно и благодарно целовал он руки, благословлявшие его. Этот момент был ей особенно дорог. Замечу, что кресло, в котором она тогда сидела, прижав к себе голову Володи, всегда стояло в белом, нетронутом чехле. Старушка никогда и ничего не говорила по поводу этого кресла, но мы все знали ее мысли. И никто в это кресло не садился, и сама она его не трогала, только изредка подходила к нему и поправляла какую-то складку холста.

Обычно, вечерами, семья старушки, ее две дочери и их мужья, долго засиживались в столовой. Почти всегда здесь же был и я. Велись медлительные разговоры о том, о сем, иногда составлялась партия в винт или преферанс, но чаще всего старались вести беседу так, чтобы отвлекать мать от мыслей о потере двух сыновей и о Володе. Часов в одиннадцать старушка отправлялась в спальню. И только после этого возникали злободневные разговоры. Как раз именно в это время русская армия отступала, на фронте были неудачи, и все это, неизбежно, оканчивалось тревогой за Володю, от которого, к слову, давно не было писем.

Наступила зима. Дело приближалось к Рождеству.

В один из вечеров старушка вспомнила о Володе. Собственно, по очень, казалось бы, простой причине: ударили холода, и мать беспокоилась, получил ли Володя посланные ему теплые шерстяные и меховые носки.

Мы всячески старались успокоить старушку.

— Да, да, — тихо сказала она. — Хорошо... Я, ведь, знаю... Володя...

Представьте себе: вечер, тишина, старушка-мать, думающая о сыне и сказавшая: «Я, ведь, знаю... Володя...» Что здесь особенное? Ни-чи-го... А вместе с тем мы все замолчали. Старушка поднялась со своего стула, медленно подошла к тому креслу и остановилась перед ним, бессильно опустив руки. Она стояла спиной к нам. Мы не могли видеть ее лица, ее глаз. И мы все чувствовали: сейчас случится что-то такое, чему нет названия на нашем бедном языке.

Старушка поправила складку чехла и опустилась в кресло. Была она такая трогательно-маленькая и жалкая... и вместе с тем на лице ее отразилось такое... как называть?.. ну, нечто вроде отсвета далекого, не яркого сияния. Нам показалось, что все потонуло в мертвой, неподвижной тишине, исключающей какой-либо звук или движение. Этот отсвет сияния усиливался, и мы все, в одно мгновение переглянувшись, отчетливо увидели, как мать, сидящая в кресле, кротко благословляла Володю, стоящего перед нею на коленях...

Долго ли это продолжалось, я не знаю. Старушка приподняла голову, и как-будто сразу, поразительно-легко рассеялась таинственная тишина: громко и торопливо зачикали стенные часы, в замерзшие окна назойливо ворвалась беспокойная жизнь большого города, на колокольне соседнего монастыря начало бить одиннадцать...

Руки старушки задрожали. Она вопросительно, по очереди, оглядела нас и, видимо, что-то хотела спросить. Но не спросила, а посмотрела вокруг, тревожно провела руками по платью... Знаете, лично у меня был момент близкий к рыданию: наблюдая за движением рук старушки я представлял себе, что она ищет какой-то реальный след того, что было недавно. И не находит. И не знает, что же такое случилось.

Она вдруг вздрогнула, заметив, что сидит в том кресле. Торопливо поднявшись, срывающимся голосом она сказала:

— Вот присела, задремала чутинку... и, знаете, сон-то какой хороший видела: Володеньку...

Старшая дочь, Елена Александровна, не выдержала. Быстро встав, она взяла руку матери:

— Идемте, мамочка, я вас проведу в спаленку...

— Да, да, идем, Леночка... Что-то устала я очень...

Через полчаса Елена Александровна вернулась. Все это время мы просидели молча. Мне казалось, что мы все думали об одном и том же, одними и теми же мыслями. Видимо, это и на самом деле было так.

Интересно отметить, что позже, вновь и вновь возвращаясь к этому видению, к этой галлюцинации, мы все обязательно вспоминали никогда ранее не ощущаемую тишину, тишину, лишенную каких-либо звуков и шороха.

Когда вернулась Елена Александровна, ее первый вопрос был, видели ли мы Володю. Затем Елена Александровна рассказала, что мать

передавала свой сон так, как мы, пять не спавших, видели на самом деле.

— И знаете, — закончила Елена Александровна, — мама, говоря обо всем этом, в какой-то степени сомневалась, был ли это сон. Она не говорила об этом прямо, но в интонациях, в отдельных восклицаниях сквозила эта неуверенность. «Я, Леночка, — говорила мать, — так ярко представляла себе Володю, что даже как будто бы чувствовала тяжесть его головы на моих коленях».

Константин Петрович, уже немолодой врач, задумчиво произнес:

— Знаете, мне кажется, что с Володей что-то случилось...

Елена Александровна, его жена, вскипела:

— Перестань, пожалуйста! — И торопливо перекрестившись, добавила: — не дай Бог... А ты, Константин...

Константин Петрович вздохнул:

— Хорошо, хорошо... Но все же...

Заметив предостерегающий жест жены, он замолчал. Через некоторое время Константин Петрович взял лист бумаги и что-то начал писать. Елена Александровна вспылила и нервно крикнула:

— Стыдись... что ты там рисуешь?

Константин Петрович покорно произнес:

— Я не рисую... Я записал: «Сегодня, 20 декабря 1916 года, между 10 и 11 часами вечера с Володей что-то произошло».

Елена Александровна истерически разрыдалась. Но припадок был короткий и после этого мы еще долго сидели за столом. Естественно, разговор шел о том, что мы недавно видели и пережили.

Понимаете: мы, взрослые люди, все это как-будто бы несуществующее видели в малейших подробностях, вспоминали детали, подтверждали их и в то же время сомневались в том, что утверждали.

Константин Петрович первым высказал, как он называл, свое субъективное мнение:

— Понимаете, господа, это было... это мы все видели, и вместе с тем как будто бы ничего этого и не было. Может быть, один из нас утверждает вот это, и остальные, уже соответственно настроенные всем предыдущим и подготовленные к восприятию необычного, легко поддаются под влияние этого утверждения и воссоздают ту или иную картину...

Заметив чей-то протестующий жест, Константин Петрович поднял руку:

— Я попрошу вас, господа, выслушать меня... Мы столкнулись с явлением необычайным, поставившим нас у той черты, за которую нам перешагнуть не дано. Если бы это случилось где-то и с кем-то, если бы обо всем этом мы услышали или прочитали в толстом, серьезном журнале, мы всему этому начали бы находить объяснения «с научной точки зрения». И, видимо, легко пришли бы к выводу, что тут имеет место изумительный случай массовой галлюцинации, когда и т. д. Поговорив обо всем этом положенное количество времени, мы перескочили бы к другой теме, и через несколько дней, а может быть и на следующее утро, уже и не вспомнили бы этот эпизод. Мы поговорили об интересном, непонятном и щекочущем нервы явлении, забыв о том, что за этим явлением, или, вернее, в центре этого явления были

люди, непосредственно прикоснувшись к тому, что уже находится по ту сторону, и что почувствовать это потустороннее дано не каждому.

Мы были случайными свидетелями. Да, я это утверждаю. Дело не в нас, мы могли и не быть, дело в маме. Каким-то особым сверхчувством она соприкоснулась со своим сыном, находящимся за тысячи верст и в месте, о котором она не имеет никакого представления. В результате — произошло то, что произошло.

Возникает вопрос: почему все это приобрело такие яркие, отчетливо-реальные формы? На это нельзя ответить утвердительно. Можно только предположить, что эти сверхчувствия в данный момент, то есть в период между десятью и одиннадцатью часами вечера сего двадцатого декабря, в силу каких-то исключительных причин получили особое напряжение. Какое? Маму мы видели; в ее слове «Володя» была вся она со своей любовью и тревогой за сына. Но мама оставалась мамой, а вот что произошло на другом полюсе, то есть с Володей, именно опять-таки в этот промежуток времени — мы не знаем. Но там... что-то произошло. И поэтому я записал это на бумаге и вот — вы все будете помнить об этой записке — я кладу ее в ящик письменного стола, а ключ от него возьмет...

С этими словами Константин Петрович протянул ключ мне...

Все следующие дни старушка чувствовала себя плохо и не выходила из спальни. О происшедшем мы, как бы сговорившись, старались не вспоминать.

Рождество и Новый год прошли не особенно весело. Елена Александровна почти все вечера проводила с матерью.

От Володи никаких известий не было. Утешались тем, что если бы с ним случилось что-либо, то командир полка, коротко знакомый всей семье, сообщил бы незамедлительно.

Подошла середина января. Старушка не появлялась в столовой, и я о ней знал лишь только то, что она стала очень молчаливой, углубившейся в самое себя. Елена Александровна с тревогой рассказывала, что у матери все время невысказанный вопрос в глазах и прямо-таки осязаемое чувство ожидания чего-то.

Однажды мы сидели в столовой и, как это повелось с тех пор, больше молчали, нежели говорили. И вот в такой момент тишины мы вновь увидели Володю. Он медленно прошел мимо нас в открытую дверь комнаты, за которой была расположена спальная матери.

Мы не успели притти в себя от изумления, как раздался крик и шум от падения тела. Все, исключая, понятно, меня, бросились в комнату матери.

Я остался один... встал, подошел к письменному столу, вынул из кармана ключ, открыл ящик, вынул запись, сделанную Константином Петровичем. Перечитал ее, и, присев к столу, сделал пометку: «14 января, 9 часов 30 минут вечера». Положив бумагу в ящик стола, я обратил внимание как сильно, мелкой дрожью вздрагивают пальцы моих рук. Мне кажется, что именно это незначительное обстоятельство направило мою мысль к только что случившемуся. Что же все-таки произошло? Володя был здесь. Он двигался мимо нас. И все. Напрягая

память, я силился восстановить все детали. И вот именно детали и ускользали. Я даже не мог припомнить, как он был одет и, даже, из какой двери он вышел. Единственное, отчетливое представление о сегодняшнем Володе — его бескровное лицо и закрытые глаза. Да, он прошел мимо нас, скользнул мимо всех не открывая глаз. В этом я был уверен, и это меня почему-то особенно поразило. И стало загадкой.

Тут интересно отметить: я сказал сам себе, что закрытые глаза загадка. Как будто бы все остальное было делом обычным, понятным, а вот закрытые глаза... Именно эти закрытые глаза заставили меня сидеть и ждать.

Прошло более часа. Наконец, все вернулись и Константин Петрович рассказал, что вбежав в спальню, они застали Елену Александровну лежащей на полу. Мать спокойно спала.

Перенеся Елену Александровну в соседнюю комнату, ее привели в чувство. Растрелянно оглянувшись, она прошептала: «А где Володя?»

Несколько позже, успокоившись, она рассказала о том, что, сидя у постели спящей матери, она почувствовала за своей спиной присутствие кого-то. Оглянувшись, она увидела Володю, вскрикнула и упала.

— А глаза? — невольно воскликнул я.

— Что глаза? — переспросила Елена Александровна.

— Глаза! Володины глаза?

Елена Александровна задумалась и, вздрогнув, растрелянно прошептала:

— Он стоял... с закрытыми глазами...

Позже, все, вспоминая недавнее, утверждали, что отчетливо видели лицо Володи с закрытыми глазами. И ни один из нас не мог сказать, как был одет Володя.

Володя прошел мимо нас, вот здесь — об этом говорили все, но никто не мог вспомнить, был ли слышен какой-либо шорох, звук шагов. Создавалось впечатление, что мимо нас проплыло только лицо. Об этом сказал Константин Петрович. Но его все опровергли, решительно утверждая, что Володя именно прошел.

Со странным чувством холодной, внутренней пустоты мы распрошались и разошлись по своим комнатам.

На следующее утро мать рассказала детям, что она во сне видела Володю.

— На минуточку вошел ко мне, взглянул от дверей и исчез. Я даже не успела спросить, получил ли он теплые носки, — закончила старушка и заплакала.

Днем, во время обеда, горничная доложила, что воинский начальник вызывает к телефону Константина Петровича. Елена Александровна испуганно посмотрела на мужа: она была встревожена слухами, что часть врачей намечено отправить на фронт, в полевые госпитали.

Константин Петрович скоро вернулся, коротко сказав, что обязан явится к полковнику. Не закончив обед, он уехал.

Вечером, вернувшись к себе, я был охвачен какой-то особенной, нервной тоской. Желая поскорее узнать новости, я позвонил горничной.

— Что нового?

Но горничная не смогла ответить. Что-то произошло, но что — она не знала. Единственное, не ускользнувшее от ее внимания — особая забота о больной матери и то, что около нее постоянно кто-либо находится. Не желая мешать семье, я в этот вечер не выходил в столовую, попросив подать мне чай в мою комнату.

Через некоторое время ко мне зашел Константин Петрович. Устало присев на диван, он сказал:

— Позвольте мне немного отдохнуть у вас...

Придвинув папиросы, я начал рассказывать об университетских новостях, старательно избегая всего, что могло бы напомнить войну и то, что так волновало их дом.

Константин Петрович, склонив голову, казалось, был занят своими мыслями. Совершенно неожиданно он прервал меня:

— Вы знаете, я сегодня был у воинского начальника. С Володей... хотя... прочтите сами, что пишет его полковой командир...

Я взял письмо. Содержание его сводилось к следующему: полковой командир, не желая сразить мать Володи, уже потерявшую двоих сыновей, просил воинского начальника исподволь подготовить ее к страшному известию — в ночном бою 20 декабря Володя смертельно ранен. Положение его безнадежно и он, только на мгновения приходя в сознание, почти все время в бесчувственном состоянии.

В заключение, полковой командир уведомлял, что он лично несколько раз посещал госпиталь и что обо всем дальнейшем он будет сообщать ему, воинскому начальнику, ибо «не находит сил писать матери»...

— Понимаете, — говорил Константин Петрович, — ночной бой 20 декабря... Это — тот момент, те часы, когда Володя первый раз пришел к матери, те часы, которые мы отметили тогда на бумаге, хранящейся в столе и ключ от которого у вас.

— Совпадение изумительное, скажет скептик, — продолжал он. — И возражать не стоит. Разве можно опровергать или утверждать то, что не может быть понято, к чему мы не можем подойти с нашими обычными представлениями о реальном мире и о том, что происходит в душе и с душой человека... Если бы все случившееся здесь происходило где-то и с кем-то, я, врач, толково объяснил бы все это, сказал, какие надо принять меры, дал бы неплохой рецепт, получил бы свой гонорар и, самое интересное, я сам бы остался в твердом убеждении исполненного долга. Но все это произошло с нами и у нас. И у меня рука не поднимается писать рецепт, посыпать в аптеку за лекарствами, что-то внушать матери или самому себе.

Константин Петрович сжал голову руками:

— Гал-лю-ци-на-ции! — с тоской воскликнул он. — Сами себя и других мы всегда обманываем выдуманными словами как только сталкиваемся с тайной, которой окружена вечная душа человека... Я вижу вас таким, какой вы есть; такой — вы ограничены временем, пространством, возможностями; для вас все — от и до, и дальше этого вы не пойдете... Но вот ваша душа! Она вне пространства, вне времени, вне определенного круга возможностей. Для нее нет границ... Жалким отблеском души, смутным отражением ее, видимо, является мысль, которая может уйти за границы исчисляемого времени, перешагнуть поддающиеся измерению пространства, стать раньше от и

после до... Но и для нее, для этой самой мысли, есть предел, за который она не может проникнуть. И этот предел там, где начинается таинственная жизнь души, для которой уже нет никаких границ...

Я смотрел на Константина Петровича. Вслушиваясь в его слова, я представлял себе эту таинственную душу, которая облекается в знакомые формы для того, чтобы стать понятной и близкой, как бы помогающей проникнуть за грань познаваемого, как бы открывющей свои тайны. Мне даже казалось, что я чувствую эту таинственную жизнь души, но... я не могу этого выразить сейчас... Мне думалось, что если бы не разгадали, нет... просто поняли бы жизнь души, все пошло бы по-иному. Душа, взявшая свое начало от Вечности, душа Космоса, оплодотворившая все — принадлежит не мне и никому, принадлежит Вечности. Поняв только это, проникнувшись сознанием своей причастности к тому, что превыше всего, человек стал бы смотреть на свое кратковременное пребывание здесь как на свободное проявление души, совершающей свое непостижимое для ума человеческого движение...

Со следующего дня матери Володи стало лучше. Она могла уже вставать с постели и чувствовала себя здоровой. Но какое-то напряжение не покидало ее. Она прислушивалась к каждому звонку, часто подходила к окну, из которого был виден подъезд, и подолгу простоявала, внимательно разглядывая прохожих.

К матери, стоящей у окна, иногда приближалась Елена Александровна. Обняв старушку за плечи, она прижималась к ней и робко спрашивала:

— Мамочка, что?

Мать молча гладила руку дочери и закрывала глаза, как бы боясь выдать какую-то свою, большую, тщательно-хранимую тайну.

Всех поражало, что после болезни мать перестала говорить о Володе и как будто забыла о нем. Нас это удивляло, ставило в тупик и... все мы знали, что старушка живет мыслями о сыне. Это подтверждалось многим. Мать, когда этого никто не видел, часто подходила к тому креслу и подолгу стояла перед ним, как бы вопрошая о чем-то или желая вызвать уже ушедшие картины. Оставаясь наедине, она шептала имя своего последнего сына. Но больше всего нас поражали ее намеки: казалось, она знает о судьбе своего сына.

20 декабря она слегла в постель. 14 января она поднялась и начала оживать. Именно с этого времени в глазах ее мы почувствовали знание чего-то, скрытого от нас громадным пространством, в безымянной точке которого был брошен госпиталь под таким-то и таким номером. В этом госпитале был безнадежно раненый Володя. Видимо, его уже нет, потому что полковник ничего не пишет, не решаясь взяться за перо, из-под которого должно вырисоваться страшное слово: смерть.

Мы были уверены в этом. И вместе с тем нас поражало напряженное спокойствие матери. Однажды Константин Петрович сказал своей жене:

— Ты, Леночка, осторожно, издалека, но приводи мать к мысли о той опасности, которой подвергается Володя. Это необходимо сделать,

потому что в один, может быть ближайший день, мы получим письмо и...

Елена Александровна пристально посмотрела на мужа, встала и быстро вышла из столовой. Константин Петрович в недоумении взглянул ей вслед и пожал плечами. Он, видимо, хотел что-то сказать, но в это время вернулась Елена Александровна и, остановившись в дверях, сказала:

— Мама... хорошо и тихо спит, Костя. Знаешь, на лице ее отражение какой-то радости, ну, так, как это бывает у детей... накануне больших, ожидаемых праздников.

Мы внимательно вслушивались в слова Елены Александровны.

— Так вот, Костя, — продолжала она, — ты говорил о том, что надо подготовить маму к самому страшному, к мысли о смерти Володи... Я расскажу вам другое, должна рассказать, чтобы вы поняли невозможность готовить маму именно в таком направлении... Слушайте: во время своей болезни мама только мне одной сказала, что Володя умирает. И она просила меня потихоньку подготовить вас к тяжелому известию... Тут я не выдержала и воскликнула: «Мама, а вы, вы-то как же?» Она спокойно отвела взгляд. Я не могла рассмотреть выражение ее лица: маленькая ночная лампочка освещала только изголовье кровати. Все остальное было наполнено темнотой и чистой, ничем ненарушенной тишиной. Мама смотрела в угол комнаты, там чуть-чуть розовел огонек лампады, дрожаще вырисовывая лик Спасителя.

«Я... я тоже умру»... Вначале я даже не поняла, кто произнес эти слова. И только заметив устремленные к лампаде глаза матери я почувствовала правду ее слов.

Вот... и я не могла говорить вам об этом, потому что все это было похоже на бред, на тихое помешательство... Но мама поправилась. И, знаете, мне казалось, что улучшение происходит чисто-физическое, а вот то, что меня раньше испугало, это развивается и развивается. Она спокойна и тиха. Но она прислушивается к чему-то внутри ее происходящему, напряженно прислушивается, и в то время, когда мы через воинского начальника узнали о трагедии, она радостно улыбается сама себе, а я с ужасом смотрю на ее улыбку. И она мне говорит, нет, не говорит, а шепчет о том, что все хорошо, что опасность миновала, что Володя скоро будет здесь. В последние дни она сама перебирала белье Володи, волновалась из-за потерянной пуговки...

Я не могу больше, не могу видеть ее напряженно-ждущий взгляд. Я представляю день, когда придет весть о трагедии: каким буйным помешательством будет охвачена мама... После этой уверенности «все хорошо» — чего можно ждать... А она просит: «Ты, Леночка, скажи им там, уверь их потихоньку, что теперь все хорошо, он скоро будет с нами»...

Понимаете: «С нами... С нами»... со слезами воскликнула Елена Александровна и поспешно вышла из комнаты.

Рассказ Елены Александровны осложнил и без того сложную жизнь семьи. С одной стороны — взрослые, пожилые люди, старающиеся как-то смягчить удар вот-вот готовой упасть на слабые плечи

дряхлой матери. С другой — мать, под влиянием тяжелых переживаний, вызванных гибелью сыновей, начинающая впадать в тихое, углубленное в себя помешательство, мать, ожидающая прибытия своего последнего, уже не существующего сына.

Я был посвящен во все тайны. Но не будучи связан родственными узами, я до некоторой степени находился в роли постороннего наблюдателя и поэтому все происходящее здесь видел особенно отчетливо. Мелочи, которые ускользали от внимания Елены Александровны, для меня имели немаловажное значение. И постепенно я пришел к твердому убеждению, что старушка каким-то образом читает мысли детей и знает, о чем они думают. Она знала, что и Елена Александровна и ее муж хотят посвятить ее в тайну, подготовить к трагедии. Этим знанием я объясняю тихое уклонение матери от бесед, касающихся Володи. Как только начинался разговор на эту тему, она сразу же вставала, как-то особенно улыбалась и уходила. Улыбка была действительно странная: губы не улыбались, по ним чувствовалось какое-то скольжение, какой-то отблеск улыбки, тень улыбки. Это поражало, это вызывало недоумение и невольную мысль о помешательстве. Так об этом обычно говорил Константин Петрович, и когда я, однажды, заметил, что эта улыбка матери очень значительна, он болезненно поморщился и скорбно произнес:

— При известии о Володе она утратит остатки сознания, которыми она сейчас живет . . .

Старушка почему то полюбила число: 14. Она иногда, без всякого повода, начинала говорить о счастливых днях. Заметим: ни о чем подобном она раньше не говорила, а теперь настойчиво утверждала:

— А все-таки, Леночка, есть счастливые дни . . .

Константин Петрович мягко начинал убежждать мать в необоснованности этого, говоря, что вся жизнь подчиняется известным законам. Она слушала и кивала головой. Мне чудилось, что в этом покорном согласии было скрыто нечто мудрое, покровительственное, чего мы не можем понять. Так подчас взрослый соглашается с детьми, прощая им их ложное представление о вещах и явлениях.

Однажды я осторожно спросил, какое же число и день она считает счастливым. Старушка удивленно подняла глаза:

— Как какое? Конечно, четырнадцатое . . .

— В вашей жизни?

Старушка немного задумалась:

— Да, и в моей. Конечно, и в моей . . . а, главное, в жизни Володи . . .

В этом утверждении была такая уверенность, что не только я, но и все остальные поняли: возражать нельзя.

Когда старушка ушла в свою комнату, я направился к письменному столу, открыл ящик и вынул записку.

— Вот, господа, первая запись: 20 декабря. Она сделана рукой Константина Петровича . . . А вот следующая: 14 января. Это — я, помните, в тот вечер, когда . . .

И мы все ярко представили себе событие того вечера 14 января, и почувствовали какой-то холодок. Мне даже показалось, что кто-то незримый находится здесь и наблюдает за нами.

Были и еще детали, подтверждающие помешательство матери. Но было и другое: в ней чувствовалась непреоборимая внутренняя сила убеждения, граничащая с предвидением того, что должно случиться. Особенно ярко это сказалось в конце января.

Утром я, как обычно, вышел к кофе. Все были в сбое. Пришла и мать. Но сядясь к столу, она подошла к окну и стала пристально смотреть на улицу.

— Мамочка, идите пить кофе...

— Спасибо, Леночка, я подожду...

Елена Александровна приблизилась к матери и попыталась привести ее к нам.

— Нет, Леночка, нет... Как ты не понимаешь? Я должна подождать...

Елена Александровна в недоумении переспросила:

— Должны ждать? Чего же вы ждете, мамочка?

Она взглянула в глаза дочери и отчетливо, так что все слышали, сказала:

— Сегодня от Володи будет письмо...

Понимаете: она не ожидает, не предполагает, нет, она знает, что это письмо будет...

Вечером я вернулся домой. И сразу узнал, что старушке к концу дня стало худо и она слегла в постель. Позже мне сообщали, что она целый деньостояла у окна в ожидании письма. Но прошло 10 часов утра — письма не было. Вторая почта, обычно, бывает в 3 часа дня, но в это время на нашей улице даже почтальон не появлялся. После этого матери стало плохо и ее уложили в постель, уговорив выпить каких-то капель...

На следующий день, с первой почтой, было доставлено письмо. Горничная, передавая письмо Константину Петровичу, сказала:

— Почтальон просил извинения, что вчера не смог доставить письмо: ногу, говорит, вывихнул во время обхода, такая гололедь...

Мы все переглянулись. И у всех возникла одна и та же мысль: значит, письмо было вчера...

— От полкового командира, лично маме, — сказал Константин Петрович, передавая письмо жене. — Иди, Леночка...

Елена Александровна перекрестилась.

— Иди, Леночка, — подтвердил Константин Петрович, — иди: мама была права... Если пишет командир полка и лично ей, значит...

В напряженном ожидании сидели мы у стола. Минут через двадцать вышла Елена Александровна с матерью. Старушка радостно сказала:

— Вот... вот... прочитай ты, Леночка...

Елена Александровна прочитала письмо. Полковой командир подробно описывал матери события 20 декабря и, затем, рассказывал о тяжелом положении Володи до 14 января. Только 14 января Володя по-настоящему пришел в себя, глубоко вздохнул, как-будто оттолкнувшись от ночного кошмара, и первое его слово было «мама».

В заключение полковник сообщал, что через несколько дней Володя будет переведен из прифронтового госпиталя в один из лазаретов нашего города...

Собственно, на этом можно бы и закончить рассказ, — сказал профессор. — Все достаточно ярко и... просто, — с улыбкой добавил он.

Мы молчали, глубоко переживая нарисованные рассказчиком картины, к которым так не подходили привычные объяснения вроде «массовых галлюцинаций». Что-то большое и значительное чувствовалось во всем этом, к чему нельзя было подойти с обычными представлениями. Надо было — или со смехом отрицать все, все признав ерундой, или... молчать.

Позднее, уже перед тем, как расходиться по домам, один из нас спросил:

— Скажите, профессор, а когда Володя был переведен в ваш город, что он говорил, когда затрагивались эти памятные дни 20 декабря и 14 января?

— Володя некоторое время лежал в городском госпитале. Потом матери разрешили взять сына домой, так как он уже мог ходить и вообще был накануне выздоровления. Был назначен день переезда. Мы были в ожидании. Сидели у стола. Володя с матерью вошел. Посмотрел на нас, оглянулся и вдруг побледнел, поднял руку к глазам.

— Что с тобой, Володенька, — тревожно спросила мать.

Володя опустил руку, еще раз пристально обвел глазами все: нас, стол, комнату и вдруг спросил:

— Мамочка, а где же рыжая кошка?

Понимаете, господа: «Где рыжая кошка?» Володя спрашивал о кошке, тревожно, настойчиво спрашивал, как-будто это могло иметь какое-либо значение. Вопрос был тем более странный, что в их квартире вообще никогда не жила кошка.

— Какая кошка? Володенька, что с тобой? — в тревоге спрашивала мать.

— Такая... рыжая... вот она должна сидеть на этом стуле, у печки...

И тогда все мы вспомнили большую, рыжую кошку, взятую как-то «напрокат» у хозяйки дома: завелась мышь. Кошка пробыла здесь несколько дней, сделала свое дело и была возвращена владелице.

Володя потерянно оглядывался и, наконец, уже сидя в кресле, несколько успокоенный, сказал:

— Простите, мамочка... Это... ничего. Это... но это такое яркое, такое неожиданное... все, что я вижу сейчас — я видел во сне в тот день, когда после месячного бреда я уснул спокойно... Уснув, я увидел вот то, что сейчас вижу: вы все сидите так, на своих местах, а вот тут на стуле большая рыжая кошка... Мимо вас я прохожу в комнату мамы... И вы все смотрите мне в лицо и почему-то молчите... А кошка сидит на стуле... и передняя правая лапка у нее беленькая, как в чулочке... и кромка ушей как бы обшита черной тесемкой...

Вот, собственно говоря, и все. На следующий день я уезжал далеко, на юг, надолго. Попрощавшись со всеми, окончив все свои дела, я уже был на вокзале. И вот тут, среди суматохи, среди снующих людей и мелькающих в разных направлениях чемоданов, мне отчетливо вспоми-

нился сон Володи. И мне нестерпимо захотелось взглянуть на эту рыжую кошку. Еще вчера, когда Володя ушел к себе, мы вспоминали и вспомнили, что она была в нашей квартире именно в середине января, но никто из нас не мог утвердительно сказать, «общиты» ли у нее ушки черной тесемочкой и в «чулочке ли беленъком» ее правая передняя лапка. И чем больше я думал сейчас, сидя в одиночестве на вокзале, об этой кошке, тем сильнее и сильнее мне хотелось видеть ее. Желание это было настолько сильное, что равнялось требованию что-то проверить, что-то установить и доказать самому себе. Мне казалось, что не сделав этого, я допущу какую-то ошибку, не предприму что-то важное и необходимое.

Меня не удивило мое собственное решение: выйти из вокзала, взять извозчика и поехать. Я так и поступил. Через полчаса я уже звонил к хозяйке дома. Она удивленно встретила меня и растерянно спросила:

— Как так? Ведь вы на Кавказ уехали?

— Да, уеду, но только вечерним поездом...

Еще более она была поражена, когда я попросил показать мне кошку. Вначале она даже не поняла о чем идет речь и мне стоило некоторых усилий растолковать сущность моей просьбы.

Все еще пожимая плечами и ухмыляясь, она пошла на кухню и принесла крупную, рыжую кошку. Ласково мурлыча, кошка нежно прижималась к женщине и щурила свои зеленоватые глаза.

— Вот вам моя Матильда, — сказала хозяйка. — Можете любоваться...

Я не любовался... Растерянный, я задумчиво смотрел на эти красиво вырезанные ушки. Они были окантованы тонким шнурочком из черных с белым шерстинок. Чуть позже я увидел правую переднюю лапку в ослепительно белом чулочке...

— Как все это странно...

— Что странно? — спросила хозяйка.

Я ничего не ответил... Да и мне самому никто ничего не смог бы ответить...

Закончив рассказ, профессор торопливо встал:

— Пора и по домам, господа...

Больше он ничего не сказал... Прощаясь, в его руке мы ощущали легкую дрожь, как будто бы он только что перенес глубокое, душевное потрясение.

Реген, Бавария, 1950.

Склад издания:
ZOPE-Büro, München 19, Renatastraße 77, Deutschland.